

Чингиз Торекулович Айтматов

Материнское поле

Повести –

OCR & SpellCheck: Zmiy (zmiy@inbox.ru), 28 мая 2003 года
«Первый учитель»: Издательство детской литературы «Веселка»; 1976

Аннотация

«Материнское поле» о сложных психологических и житейских коллизиях, происходящих в жизни простых деревенских людей в их столкновении с новой жизнью.

Чингиз Айтматов

Материнское поле

Отец, я не знаю, где ты похоронен.
Посвящаю тебе, Торекулу Айтматову.
Мама, ты вырастила всех нас, четверых.
Посвящаю тебе, Нагиме Айтматовой.

1

В белом свежестыранном платье, в темном стеганом бешмете, повязанная белым платком, она медленно идет по тропе среди жнивья. Вокруг никого нет. Отшумело лето. Не слышно в поле голосов людей, не пылят на проселках машины, не видно вдали комбайнов, не пришли еще стада на стерню.

За серым большаком далеко, невидимо простирается осенняя степь. Бесшумно кочуют над ней дымчатые гряды облаков. Бесшумно растекается по полю ветер, перебирая ковыль и сухие былинки, бесшумно уходит он к реке. Пахнет подмокшей в утренние заморозки травой. Земля отдыхает после жатвы. Скоро начнется ненастье, польют дожди, запорошит землю первым снегом и грянут бураны. А пока здесь тишина и покой.

Не надо мешать ей. Вот она останавливается и долго смотрит вокруг

потускневшими, старыми глазами.

— Здравствуй, поле, — тихо говорит она.

— Здравствуй, Толгонай. Ты пришла? И еще постарела. Совсем седая. С посошком.

— Да, старею. Прошел еще один год, а у тебя, поле, еще одна жатва. Сегодня день поминовения.

— Знаю. Жду тебя, Толгонай. Но ты и в этот раз пришла одна?

— Как видишь, опять одна.

— Значит, ты ему ничего еще не рассказала, Толгонай?

— Нет, не посмела.

— Думаешь, никто никогда не расскажет ему об этом? Думаешь, не обмолвится кто ненароком?

— Нет, почему же? Рано или поздно ему станет все известно. Ведь он уже подросток, теперь он может узнать и от других. Но для меня он все еще дитя. И боюсь я, боюсь начать разговор.

— Однако человек должен узнать правду. Толгонай.

— Понимаю. Только как ему сказать? Ведь то, что знаю я, то, что знаешь ты, поле мое родимое, то, что знают все, не знает только он один. А когда узнает, то что подумает он, как посмотрит на бывшее, дойдет ли разумом и сердцем до правды? Мальчишка ведь еще. Вот и думаю, как быть, как сделать, чтобы не повернулся он к жизни спиной, а всегда прямо смотрел ей в глаза. Эх, если бы можно было просто в двух словах взять да и рассказать, будто сказку. В последнее время только об этом и думаю, ведь не ровен час — помру вдруг. Зимой как-то заболела, слегла, думала — конец. И не столько боялась смерти — пришла бы, я противиться бы не стала, — а боялась я, что не успею открыть ему глаза на самого себя, боялась унести с собой его правду. А ему и невдомек было, почему так маялась я... Жалел, конечно, даже в школу не ходил, все крутился возле постели — в мать весь. «Бабушка, бабушка! Может, воды тебе или лекарства? Или укрыть потеплее?» А я не решилась, язык не повернулся. Уж очень он доверчивый, бесхитростный. Время идет, и никак не найду я, с какого конца приступить к разговору. По-всякому прикидывала, и так и эдак. И сколько ни думаю, прихожу к одной мысли. Чтобы он правильно рассудил то, что было, чтобы он правильно понял жизнь, я должна рассказать ему не только о нем самом, не только о его судьбе, но и о многих других людях и судьбах, и о себе, и о времени своем, и о тебе, мое поле, о всей нашей жизни и даже о велосипеде, на котором он катается, ездит в школу и ничего не подозревает. Быть может, только так будет верно. Ведь тут ничего не выкинешь, ничего не прибавишь: жизнь замесила всех нас в одно тесто,

завязала в один узел. А история такая, что не всякий даже взрослый человек разберется в ней. Пережить ее надо, душой понять... Вот и раздумываю... Знаю, что это мой долг, если бы удалось его исполнить, то и умирать не страшно было бы...

— Садись, Толгонай. Не стой, ноги-то у тебя больные. Присядь на камень, подумаем вместе. Ты помнишь, Толгонай, когда ты первый раз пришла сюда?

— Трудно припомнить, столько воды утекло с тех пор.

— А ты постарайся вспомнить. Вспомни, Толгонай, все с самого начала.

2

Смутно очень припоминаю: когда я была маленькой, в дни жатвы меня приводили сюда за руку и сажали в тени под копной. Мне оставляли ломоть хлеба, чтобы я не плакала. А потом, когда я подросла, я прибежала сюда стеречь посевы. Весной тут скот прогоняли в горы. Тогда я была быстроногой косматой девчушкой. Взбалмошное, беззаботное время — детство! Помню, скотоводы шли с низовий Желтой равнины. Гурты за гуртами спешили на новые травы, в прохладные горы. Глупая я тогда была, как подумаю. Табуны мчались со степи лавиной, подвернешься — растопчут вмиг, пыль на версту оставалась висеть в воздухе, а я пряталась в пшенице и выскакивала вдруг, как зверек, пугала их. Лошади шарахались, а табунщики гнались за мной.

— Эй, косматая, вот мы тебе!

Но я увертывалась, убегала по арыкам.

Рыжие отары овец проходили здесь день за днем, курдюки колыхались в пыли, как град, стучали копыта. Гнали овец черные охрипшие пастухи. Потом шли кочевья богатых айлов с караванами верблюдов, с бурдюками кумыса, притороченными к седлам. Девушки и молодайки, разнаряженные в шелка, покачивались на резвых иноходцах, пели песни о зеленых лугах, о чистых реках. Дивилась я и, позабыв обо всем на свете, долго бежала за ними. «Вот бы и мне когда такое красивое платье и платок с кистями!» — мечтала я, глядя на них, пока они не скрывались из виду. Кем была я тогда? Босоногой дочкой батрака — джатака. Деда моего оставили за долги пахарем, так и пошло в нашем роду. Но хотя никогда не носила я шелкового платья, выросла приметной девушкой. И любила смотреть на свою тень. Идешь и поглядываешь, как в зеркало любишься... Чудная была я, ей-богу. Лет семнадцать мне было, когда на жатве я и встретила Суванкула. В тот год он пришел батрачить с Верхнего Таласа. А я и сейчас закрою глаза — и точь-в-точь вижу его, каким он был тогда. Совсем молодой еще, лет девятнадцати... Рубахи на нем не было, ходил, накинув на голые плечи старый бешмет. Черный от загара, как прокопченный; скулы

блестели, как темная медь; с виду казался он худым, тонким, но грудь у него была крепкая и руки словно железные. И работник он был — такого не скоро сыщешь. Пшеницу жал легко, чисто, только слышишь рядом, как серп звенит да колосья подрезанные падают. Бывают такие люди — любо смотреть, как работают. Вот и Суванкул был таким. На что я считалась быстрой жницей, а всегда отставала от него. Далеко уходил вперед Суванкул, потом, бывало, оглянется и вернется, чтобы помочь мне сравняться. А меня это задевало, я сердилась и гнала его:

— Ну, кто тебя просил? Подумаешь! Оставь, я и сама управлюсь!

А он не обижался, усмехнется и молча делает свое. И зачем я сердилась тогда, глупая?

Мы всегда первыми приходили на работу. Рассвет только-только наливался, все еще спали, а мы уже отправлялись на жатву. Суванкул всегда ожидал меня за аилом, на тропинке нашей.

— Ты пришла? — говорил он мне.

— А я думала, что ты давно ушел, — отвечала я всегда, хотя знала, что без меня он никуда не уйдет.

И потом мы шли вместе.

А заря разгоралась, золотились первыми самые высокие снежные вершины гор, и ветер со степи струился навстречу синей-синей рекой. Эти летние зори были зорями нашей любви. Когда мы шли с ним вдвоем, весь мир становился иным, как в сказке. И поле — серое, истоптанное и перепаханное — становилось самым красивым полем на свете. Вместе с нами встречал восходящую зарю ранний жаворонок. Он взлетал высоко-высоко, повисал в небе, как точка, и бился там, трепыхался, словно человеческое сердце, и столько раздольного счастья звенело в его песнях...

— Смотри, запел наш жаворонок! — говорил Суванкул.

Чудно, даже жаворонок был у нас свой.

А лунная ночь? Быть может, никогда больше не повторится такая ночь. В тот вечер мы остались с Суванкулом работать при луне. Когда луна, огромная, чистая, поднялась над гребнем вон той темной горы, звезды в небе все разом открыли глаза. Мне казалось, что они видят нас с Суванкулом. Мы лежали на краю межи, подстелив под себя бешмет Суванкула. А подушкой под головой был привалок у арыка. То была самая мягкая подушка. И это была наша первая ночь. С того дня всю жизнь вместе... Натруженной, тяжелой, как чугун, рукой Суванкул тихо гладил мое лицо, лоб, волосы, и даже через его ладонь я слышала, как буйно и радостно колотилось его сердце. Я тогда сказала ему шепотом:

— Суван, ты как думаешь, ведь мы будем счастливыми, да?

И он ответил:

— Если земля и вода будут поделены всем поровну, если и у нас будет свое поле, если и мы будем пахать, сеять, свой хлеб молотить — это и будет нашим счастьем. А большего счастья человеку и не надо, Толгон. Счастье хлебороба в том, что он посеет да пожнет.

Мне почему-то очень понравились его слова, стало так хорошо от этих слов. Я крепко обняла Суванкула и долго целовала его обветренное, горячее лицо. А потом мы искупались в арыке, брызгались, смеялись. Вода была свежая, искристая, пахла горным ветром. А потом мы лежали, взявшись за руки, и молча, просто так смотрели в небо на звезды. Их было очень много в ту ночь.

И земля в ту синюю светлую ночь была счастлива вместе с нами. Земля тоже наслаждалась прохладой и тишиной. Над всей степью стоял чуткий покой. В арыке лепетала вода. Голову кружил медовый запах донника. Он был в самом цвету. Иногда набегал откуда-то горячий полынный дух суховея, и тогда колосья на меже качались и тихо шелестели. Может быть, всего один раз и была такая ночь. В полночь, в самую полную пору ночи, я глянула на небо и увидела Дорогу Соломщика — Млечный Путь простирался через весь небосклон широкой серебристой полосой среди звезд. Я вспомнила слова Суванкула и подумала, что, может быть, и в самом деле этой ночью прошел по небу какой-то могучий, добрый хлебороб с огромной охапкой соломы, оставляя за собой след осыпавшейся мякины, зерен. И я вдруг представила себе, что когда-нибудь, если исполнятся наши мечты, и мой Суванкул вот так же понесет с гумна солому первого обмолота. Это будет первая охапка соломы своего хлеба. И когда он будет идти с этой пахучей соломой на руках, то за ним останется такая же дорожка растрясенной соломы. Вот так я мечтала сама с собой, и звезды мечтали вместе со мной, и мне вдруг так захотелось, чтобы все это сбылось, и тогда я первый раз обратилась к матери земле с человеческой речью. Я сказала: «Земля, ты держишь всех нас на своей груди; если ты не даешь нам счастья, то зачем тебе быть землей, а нам зачем рождаться на свет? Мы твои дети, земля, дай нам счастья, сделай нас счастливыми!» Вот какие слова я сказала в ту ночь.

А утром я проснулась и смотрю — нет Суванкула со мной рядом. Не знаю, когда он встал, пожалуй, очень рано. Вокруг на жнивье всюду лежали вповалку новые снопы пшеницы. Обидно мне стало — как бы я поработала рядом с ним в ранний час...

— Суванкул, что же ты меня не разбудил? — крикнула я.

Он оглянулся на мой голос; помню, какой он был в то утро — голый по пояс, черные, сильные плечи его блестели от пота. Он стоял и как-то радостно, удивленно смотрел, будто не узнавал меня, а потом, утирая ладонью лицо, сказал улыбаясь:

— Я хотел, чтобы ты поспала.

— А сам? — спрашиваю.

— Я ведь теперь за двоих работаю, — ответил он.

И тут я совсем вроде обиделась, чуть не разревелась даже, хотя на душе было очень хорошо.

— А где же твои вчерашние слова? — укорила я его. — Ты говорил, что мы во всем будем равными, как один человек.

Суванкул бросил серп, подбежал, схватил меня, поднял на руки и, целуя, говорил:

— Отныне вместе во всем — как один человек. Жаворонок ты мой, родная, милая!..

Он носил меня на руках, что-то еще говорил, называл меня жаворонком и другими забавными именами, а я, обхватив его за шею, хохотала, болтала ногами, смеялась — ведь жаворонком называют только маленьких детей, и все же как хорошо было слышать такие слова!

А солнце только-только всходило, поднималось краем глаза из-за горы. Суванкул отпустил меня, обнял за плечи и вдруг крикнул солнцу:

— Эй, солнце, смотри, вот моя жена! Смотри, какая она у меня! Плати мне за смотрины лучами, светом плати!

Не знаю, всерьез или в шутку он так сказал, только я вдруг расплакалась. Так просто, не удержалась от хлынувшей радости, переполнилась она в груди...

И сейчас вот вспоминаю и плачу зачем-то, глупая. Ведь то были слезы другие, они даются человеку только раз в жизни. И разве не удалась наша жизнь так, как мы мечтали? Удалась. Мы с Суванкулом жизнь эту своими руками сделали, трудились, кетмень ни летом, ни зимой не выпускали из рук. Много пота пролили. Много труда ушло. Было это уже в новое время — дом поставили, скотом кое-каким обзавелись. Словом, стали жить как люди. А самое великое — сыновья родились у нас, трое, один за другим, как на подбор. Теперь иной раз такая досада душу палит и такие несуразные мысли приходят в голову: зачем я рожала их, как овца, через каждые год-полтора, нет бы, как у других, через три-четыре года — может, тогда и не случилось бы этого. А может, лучше было бы, если бы они совсем не родились на свет. Дети мои, это я от горя, от боли так говорю. Мать ведь я, мать...

Помню, как все они первый раз появились здесь. Это было в тот день, когда Суванкул привел сюда первый трактор. Всю осень и зиму Суванкул ходил в Заречье, на тот берег, учился там на курсах трактористов. Мы и не знали тогда толком, что такое трактор. И когда Суванкул задерживался до ночи — ходить-то было далеко, — мне и жалко и обидно становилось за него.

— Ну чего ради ты связался с этим делом? Худо тебе, что ли, было бригадиром...
— упрекала я его.

А он, как всегда, спокойно улыбался.

— Ну, не шуми, Толгон. Подожди, вот настанет весна — и тогда убедишься. Потерпи малость...

Говорила я это не со зла — нелегко приходилось одной с детьми в доме по хозяйству, опять же работа в колхозе. Но отходила я быстро: гляну на него, а он замерз с дороги, не евши, а я еще заставляю его оправдываться — и самой становилось неловко.

— Ладно уж, садись к огню, еда простыла давно, — ворчала я, вроде бы прощая.

В душе-то я понимала, что Суванкул не в игрушки играл. В аиле тогда не нашлось грамотного человека для учебы на курсах, так Суванкул сам вызвался. «Я, — говорит, — пойду и грамоте буду обучаться, освобождайте меня от бригадирских дел».

Вызваться-то вызвался, зато трудов хлебнул по горло. Как вспомню сейчас — интересное было время, дети отцов учили. Касым и Маселбек ходили уже в школу, они-то и были учителями. Бывало, по вечерам в доме настоящая школа. Столов тогда не было. Суванкул, лежа на полу, выводил буквы в тетради, а сыновья лезли все трое с трех сторон и каждый учил. Ты, говорят, отец, прямой держи карандаш, да гляди — строка-то вкривь пошла, да за рукой следи — дрожит она у тебя, вот так пиши, а тетрадь вот так держи. А то вдруг заспорят между собой и каждый доказывает, что он лучше знает. В другом бы деле отец цыкнул на них, а тут слушал с уважением, как настоящих учителей. Пока одно слово напишет, замучается вконец: пот градом льет с лица Суванкула, будто он не буквы писал, а на молотилке у барабана подавальщиком стоял. Колдуют они всей кучей над тетрадью или букварем, гляжу на них, и меня смех разбирает.

— Дети, да оставьте вы в покое отца. Что вы из него, муллу собираетесь сделать, что ли? А ты, Суванкул, не гонись за двумя зайцами, выбирай одно — или тебе муллой быть, или трактористом.

Сердился Суванкул. Не глянет, покачает головой и тяжело вздохнет:

— Эх ты, тут такое дело, а ты с шутками.

Одним словом — и смех и горе. Но как бы ни было, а все-таки Суванкул добился своего.

Ранней весной — только сошел снег и установилась погода — за аилом однажды что-то затарахтело, загудело. По улице сломя голову промчался вспугнутый табун. Я выскочила со двора. За огородами шел трактор. Черный, чугунный, в дыму. Он быстро приближался к улице, а вокруг трактора народу сбежалось со всего аила. Кто на коне,

кто пеший, шумят, толкаются, как на базаре. Я тоже кинулась вместе с соседками. И первое, что я увидела, — мои сыновья. Все трое стояли на тракторе возле отца, крепко ухватившись друг за дружку. Мальчишки свистали им, шапки кидали, а они такие гордые, куда там, словно герои какие, и лица их сияли. Вот ведь сорванцы эдакие, спозаранку еще убежали на реку; оказывается, трактор отцовский встречали, а мне ничего не сказали, побоялись, что не отпущу. А оно и правда, испугалась я за детей — а вдруг что случится — и крикнула им:

— Касым, Маселбек, Джайнак, вот я вам! Слезьте сейчас же! — но в грохоте мотора и сама не услышала свой голос.

А Суванкул понял меня, улыбнулся и кивнул головой — мол, не бойся, ничего не случится. Он сидел за рулем гордый, счастливый и очень помолодевший. Да он и в самом деле был тогда еще молодым черноусым джигитом. И вот тогда, словно бы впервые, я увидела, как похожи были сыновья на отца. Их всех четверых можно было принять за братьев. Особенно старшие — Касым и Маселбек — точь-в-точь не отличить от Суванкула, такие же поджарые, с крепкими коричневыми скулами, как темная медь. А младшенький мой, Джайнак — тот больше походил на меня, светлее обликом, глаза у него были черные, ласковые.

Трактор, не останавливаясь, вышел за околицу, и мы все гурьбой повалили следом. Нам любопытно было, как же трактор будет пахать? И когда три огромных лемеха легко врезались в целину и пошли отваливать тяжелые, как гривы жеребцов, пласты, — все заликовали, загалдели и толпой, обгоняя друг друга, нахлестывая приседающих на запятки, храпящих коней, двинулись по борозде. Не понимаю, почему я тогда отделилась от других, почему я отстала тогда от людей, но вдруг очутилась одна, да так и осталась стоять, не могу идти. Трактор уходил все дальше и дальше, а я стояла обессиленная и смотрела вслед. Но не было в тот час на свете человека счастливее меня! И не знала я, чему больше радоваться: тому ли, что Суванкул привел в аил первый трактор, тому ли, что в тот день я увидела, как подросли наши дети и как здорово они были похожи на отца. Я смотрела им вслед, плакала и шептала: «Всегда бы вам так рядышком с отцом, сынки мои! Если бы выросли вы такими же людьми, как он, то ничего мне больше не надо!..»

То была самая лучшая пора моего материнства. И работа спорилась в моих руках, я всегда любила работать. Если человек здоров, если руки-ноги целы — что может быть лучше работы?

Время шло, сыновья как-то незаметно, дружно поднялись, словно тополя-одногодки. Каждый стал определять свою дорогу. Касым пошел по отцовскому пути: трактористом стал, а потом на комбайнера выучился. Одно лето ходил в

штурвальных по ту сторону реки — в колхозе «Каинды» под горами. А через год вернулся комбайнером в свой аил.

Для матери все дети равны, всех одинаково носишь под сердцем, и все же Маселбека я вроде больше любила, гордилась им. Может, оттого, что тосковала о нем в разлуке. Ведь он, как рано оперившийся птенец, первым улетел из гнезда, рано ушел из дома. В школе он с самого детства учился хорошо, все книгами зачитывался — хлебом не корми, только книгу дай. А когда закончил школу, то сразу уехал в город на учебу, учителем решил стать.

А младший — Джайнак — красивый, ладный вышел собою. Одна беда: дома почти не жил. Избрали его в колхозе секретарем комсомольским, вечно у него то собрания, то кружки, то стенгазета, то еще что. Посмотрю, как парнишка пропадает днем и ночью, — зло берет.

— Слушай, непутевый, ты бы уж взял гармонь свою, подушку да поселился бы в конторе колхозной, — говорила я ему не раз. — Тебе все равно где жить. Ни дома, ни отца, ни матери тебе не надо.

А Суванкул заступался за сына. Переждет, пока я пошумлю, а потом скажет как бы между делом:

— Ты не расстраивайся, мать. Пусть учится жить с людьми. Если бы он болтался без толку, я бы ему и сам шею намылил.

Суванкул к тому времени вернулся снова на свою прежнюю бригадирскую работу. На тракторы села молодежь.

А самое важное вот что: Касым женился вскоре, первая невестка порог перешагнула в дом. Как там у них было, не расспрашивала, но когда Касым проходил лето штурвальным в Заречье, там, видать, и приглянулись они друг другу. Он привез ее из Каиндов. Алиман была молоденькой девушкой, горянка смуглая. Сначала я обрадовалась тому, что невестка попалась пригожая, красивая и проворная. А потом как-то быстро полюбила ее, очень она мне по душе пришлась. Может, оттого, что втайне я всегда мечтала о дочери, хотелось мне иметь дочку свою. Но не только поэтому — просто она была толковая, работающая, ясная такая, как стеклышко. Я и полюбила ее, как свою, родную. Многие, случается, не уживаются между собой, а мне посчастливилось; такая невестка в доме — это большое счастье. К слову сказать, настоящее, неподдельное счастье, как я понимаю, это не случай, оно не обрушивается вдруг на голову, будто ливень в летний день, а приходит к человеку исподволь, смотря как он к жизни относится, к людям вокруг себя; по крупице, по частице собирается, одно другое дополняет, получается то, что мы называем счастьем.

В тот год, когда пришла Алиман, памятное лето выдалось. Хлеба созрели рано.

Рано начался и разлив на реке. За несколько дней до жатвы прошли в горах сильные ливни. Даже издали заметно было, как там, наверху, снег таял, словно сахар. И забурлила в поймище гремучая вода, понеслась в желтой пене, в мыльных хлопьях, приносила с гор огромные ели с комлем, била их в щепки на перепадах. В особенности в первую ночь страшно до самого рассвета ухала и стонала река под кручей. А утром глянули — старых островов как не было, начисто смыло за ночь.

Но погода стояла жаркая. Пшеница подходила ровно, зеленоватая понизу, а поверху желтизной наливалась. В то лето конца-края не было спеющим нивам, хлеба колыхались в степи до самого небосклона. Уборка еще не начиналась, но мы загодя выжинали вручную по краям загонов проезд для комбайна. На работе мы с Алиман держались рядышком, так что некоторые женщины вроде бы стыдили меня:

— Ты бы уж сидела дома припеваючи, чем соревноваться с невесткой своей. Уважение имей к себе.

А я думала иначе. Какое к себе уважение — дома сидеть... Да и не усидела бы я дома, люблю жатву.

Так мы и работали вместе с Алиман. И вот тогда заметила я то, чего никогда не забуду. На краю поля среди колосьев цвела в ту пору дикая мальва. Она стояла до самой макушки в крупных белых и розовых цветах и падала под серпами вместе с пшеницей. Смотрю, Алиман наша набрала букет мальвы и, как бы тайком от меня, понесла куда-то. Я поглядываю незаметно, думаю: что ж она будет делать с цветами? Добежала она до комбайна, положила цветы на ступеньки и молча прибежала назад. Комбайн стоял наготове у дороги, со дня на день ждали начала уборки. На нем никого не было, Касым куда-то отлучился.

Я прикинулась, будто ничего не заметила, не стала смущать — застенчивая она еще была, но в душе крепко обрадовалась: значит, любит. Вот и хорошо, спасибо тебе, невестушка, благодарила я про себя Алиман. И до сих пор вижу, какая она была в тот час. В красной косыночке, в белом платье, с большим букетом мальвы, а сама разрумянилась, и глаза блестят — от радости, от озорства. Что значит молодость! Эх, Алиман, невестушка моя незабвенная! Охотница была до цветов, как девчонка. По весне снег лежит еще сугробами, а она приносила из степи первые подснежники... Эх, Алиман!..

На другой день началась жатва. Первый день страды — всегда праздник, никогда в этот день не видела я сумрачного человека. Никто не объявляет этот праздник, но живет он в самих людях, в их походке, в голосе, в глазах... Даже в тархтенье бричек и в резвом беге сытых коней живет этот праздник. По правде говоря, в первый день жатвы никто толком не работает. То и дело шутки, игры загораются. В то утро тоже, как

всегда, было шумно и людно. Задорные голоса перекликались из одного края в другой. Но веселей всех было у нас, на ручной жатве, потому что молодежь и девушек здесь целый табор был. Бедовый народ. Касым, как на грех, проезжал тем часом на своем велосипеде, полученном в премию от МТС. Озорницы перехватили его на пути.

— А ну, комбайнер, слезай с велосипеда. Ты почему не здороваешься со жницами, зазнался? А ну, кланяйся нам, кланяйся своей жене!

Насели со всех сторон, заставили Касыма поклониться в ноги Алимана, прощения просить. Он и так и эдак:

— Извините, любезные жницы, промашка получилась. Отныне буду вам кланяться за версту.

Но этим Касым не отделался.

— Теперь, — говорят, — давай прокати нас на велосипеде, как барышень городских, да чтоб с ветерком!

И наперебой пошли подсаживать друг дружку на велосипед, а сами следом бегут, со смеху покатываются. Сидели бы уж смиренно, так нет — крутятся, визжат.

Касым от смеха еле на ногах держится.

— Ну, хватит, довольно, отпустите, черти! — умоляет он.

А те нет, только одну прокатит — другая цепляется.

Наконец Касым осерчал не на шутку:

— Да вы что, посбесились, что ли? Роса просохла, мне комбайн выводить, а вы!.. Работать пришли или в шутки играть? Отстаньте!

Ох и смеху было в тот день. А небо какое было в тот день — голубое-голубое, а солнце как ярко светило!

Приступили мы к работе, замелькали серпы, солнце жарче припекло, и застрекотали на всю степь цикады. С непривычки всегда тяжело, пока не втянешься, но весь день не покидало меня утреннее настроение. Широко, светло было на душе. Все, что видели глаза мои, все, что я слышала и ощущала, — все, казалось мне, создано для меня, для моего счастья, и все, казалось мне, полно необыкновенной красоты и радости. Отраднo было видеть, как кто-то скакал куда-то, ныряя в высоких волнах пшеницы, — может, то был Суванкул? Отраднo было слышать звон серпов, шелест падающей пшеницы, слова и смех людей. Отраднo было, когда неподалеку проходил комбайн Касыма, заглушал собой все другое. Касым стоял у штурвала, то и дело подставлял пригоршни под бурую струю обмолота, падающего в бункер, и каждый раз, поднеся зерно к лицу, вдыхал его запах. Мне казалось, что я сама дышу этим теплым, еще молочным запахом спелого зерна, от которого голова идет кругом. А когда комбайн приостановился напротив нас, Касым крикнул, словно бы с вершины горы:

— Эй, ездовой, торопись! Не задерживай!

А Алимман схватила кувшин с айраном.

— Побегу, — говорит, — пить отнесу ему!

И пустилась бежать к комбайну. Она бежала по новой комбайновой стерне стройная, молодая, в красной косынке и белом платье и, казалось, несла в руках не кувшин, а песню любящей жены. Все в ней говорило о любви. А я как-то невольно подумала: «Вот бы и Суванкулу испить айрана», — и оглянулась по сторонам. Но где там! С началом страды не найдешь бригадира, день-деньской он в седле, скачет из конца в конец, хлопот у него по горло.

К вечеру на полевом стане для нас был уже готов хлеб из пшеницы нового урожая. Эту муку приготовили заранее, обмолотив снопы с обкоса, который мы начали неделю назад. Много раз за свою жизнь приводилось мне есть первый хлеб нового урожая, и всякий раз, когда я подношу ко рту первый кусок, мне кажется, совершаю святой обряд. Хлеб этот хотя и темного цвета и немного клейкий, словно бы испеченный из жидко замешанного теста, но ни с чем на свете несравним его сладковатый привкус и необыкновенный дух: пахнет он солнцем, молодой соломой и дымом.

Когда проголодавшиеся жнецы пришли на полевой стан и расположились на траве у арыка, солнце уже садилось. Оно пылало в пшенице на дальнем краю. Вечер обещал быть светлым и долгим. Мы собрались подле юрты на траве. Правда, Суванкула еще не было, он должен был скоро подоспеть, а Джайнак, как всегда, исчез. Укатил на братнином велосипеде в красный уголок листок какой-то вывешивать.

Алимман расстелила на траве платок, высыпала яблоки-скороспелки, принесла горячих лепешек, налила в чашку квасу. Касым вымыл в арыке руки и, сидя у скатерти, неторопливо разломил лепешки на куски.

— Горячие еще, — сказал он, — бери, мама, ты первой отведай нового хлеба.

Я благословила хлеб и, когда откусила от ломтя, ощутила во рту вроде бы какой-то незнакомый вкус и запах. Это был запах комбайнерских рук — свежего зерна, нагретого железа и керосина. Я брала новые ломти, и все они припахивали керосином, но никогда не ела я такого вкусного хлеба. Потому что это был сыновний хлеб, его держал в своих комбайнерских руках мой сын. Это был народный хлеб — тех, кто вырастил его, тех, кто сидел в тот час рядом с сыном моим на полевом стане. Святой хлеб! Сердце мое переполнилось гордостью за сына, но об этом никто не знал. И я подумала в ту минуту о том, что материнское счастье идет от народного счастья, как стебель от корней. Нет материнской судьбы без народной судьбы. Я и сейчас не отреклась от этой своей веры, что бы ни пережила, как бы круто жизнь не обошлась со

мной. Народ жив, потому и я жива...

В тот вечер Суванкул долго не появлялся, некогда было ему. Стемнело. Молодежь жгла костры на обрыве у реки, песни пела. И среди многих голосов я узнавала голос своего Джайнака... Он там у них гармонистом был, заводилой. Слушала я знакомый голос сына и говорила ему про себя: «Пой, сынок, пой, пока молод. Песня очищает человека, сблизает людей. А потом услышишь когда-нибудь эту песню и будешь вспоминать о тех, кто вместе с тобой пел ее в этот летний вечер». И снова я стала думать о своих детях — такова, наверно, природа материнская. Думала я о том, что Касым, слава богу, стал уже самостоятельным человеком. Весной они с Алиман отделятся, дом уже начали строить, хозяйством своим обзаведутся. А там и внуки пойдут. За Касыма я не беспокоилась: работник он вышел в отца, покоя не знал. Темно уже было в тот час, но он еще кружил на комбайне — осталось немного загон закончить. Трактор и комбайн при фарах шли. И Алиман там с ним. В страдное время минуту вместе побыть — и то дорого.

Вспомнила я Маселбека и затосковала. На прошлой неделе прислал он письмо. Писал, что нынешним летом не удастся ему приехать домой на каникулы. Отправили его с детьми куда-то на озеро Иссык-Куль, в пионерлагерь на практику. Ну что ж, ничего не поделаешь, раз он такую работу себе выбрал, значит по душе. Где бы ни был, главное — чтоб здоров был, рассуждала я.

Суванкул вернулся поздно. Он наспех поел, и мы с ним поехали домой. Утром надо было по хозяйству управиться. На вечер приглядеть за скотиной я попросила соседку нашу Айшу. Она, бедняжка, часто болела. День поработает в колхозе, а два дома. Болезнь у нее была женская, поясницу ломило, потому и осталась с одним сынишкой — Бекташем.

Когда мы ехали домой, уже стояла ночь. Дул ветерок. Лунный свет качался на колосьях. Стремена задевали метелки созревшего курая, и в воздух бесшумно поднималась терпкая теплая пыльца. По запаху слышно было — цвел донник. Что-то очень знакомое было в этой ночи. На душе защемило. Я сидела на коне сзади Суванкула, на седельной подушке. Он всегда предлагал мне садиться впереди, но я любила так ездить, ухватившись за его ремень. И то, что он ехал в седле усталый, неразговорчивый — намотался ведь за день, и то, что он временами клевал носом, а потом вздрагивал и ударял каблуками коня, — все это было мне дорого. Я смотрела на его сутулившуюся спину и, прислонив голову, думала, жалела: «Стареем мы понемногу, Суван. Ну что ж, время-то идет. Но не даром, кажется, жизнь проживаем. Это самое главное. А ведь, сдается, совсем недавно мы были молодыми. Как быстро пролетают годы! И все-таки жить еще интересно. Нет, рано нам сдаваться. Дел еще

много. Хочется долго жить с тобой...»

И я распрямилась, подняла голову, глянула на небо — и в груди что-то дрогнуло: высоко среди ясных звезд, через весь небосклон, как тогда, широкой серебристой полосой простиралась Дорога Соломщика. И мне опять почудилось, что и в самом деле кто-то только что прошел там с огромной охапкой соломы нового урожая и растряс ее по пути. Там, наверху, золотистые соломинки, ость и мякина шевельнулись, будто от прикосновения ветра. Можно было даже разглядеть просыпавшиеся вместе с мякиной зерна. «Боже мой!» — подивилась я, разом мне вспомнилось: и та первая ночь, и наша любовь, и молодость, и тот могучий хлебороб, о котором я грезила. Значит, все сбылось, все, о чем мы мечтали! Да, земля и вода стали нашими, мы пахали, сеяли, молотили свой хлеб — значит, исполнилось то, о чем мы думали в первую ночь. Конечно, не знали мы, что придут новые времена, что наступит новая жизнь, но земная мечта простого человека, выходит, совпала с желанием времени, желанием добра и справедливости. Охваченная этими мыслями, я сидела не шелохнувшись и молчала. Суванкул оглянулся и сказал:

— Ты что, уснула, Толгонай? Устала... Ну, ничего, сейчас доберемся до дома. Я тоже намаялся. — Потом он помолчал и спросил: — А может, на новую улицу завернем?

— Завернем, — согласилась я.

Новая улица строилась на пустыре, что примыкал к окраине аила. Улицы-то самой еще не было. Весной только усадьбы нарезали для молодых. Кое-где стены уже стояли. Касым и Алиман тоже здесь усадьбу получили. Вот нам и захотелось взглянуть по пути, что там у них делается. Днем-то в уборочное время не всегда бывает свободная минута отлучиться по своим делам. Касым, Алиман и Джайнак еще с весны кирпичей саманных наделали, теперь они просыхали, сложенные в штабеля. Канавы прокопали под фундамент да на прошлой неделе навозили с реки бутового камня. Хорошо, что успели до разлива. Камень лежал сваленный посреди двора большой кучей. Суванкул остался доволен работой молодых.

— Ну что, ж начало есть. Камня вполне хватит, еще и останется, — сказал Суванкул. — Закончим уборку — стены поставим, крышу наведем, а остальное по мелочи потом dokonчим весной. До зимы все равно не управиться. Как ты думаешь, правильно я говорю, Толгонай?

— Правильно, — ответила я, — главное — стены под крышу подвести, а остальное успеется. — И, вспомнив о Джайнаке, я засмеялась. — Вот Джайнак наш все не понимает, говорит, на собрании они постановление записали: назвать новую улицу Комсомольской. А Алиман подшучивает над ним. «Ты, — говорит, — Джайнак, как

Насреддин, — ребенок не родился еще, а имя даешь. Ты, мол, женись сначала, дом поставь, улицу построй, тогда и придумывай название». А Джайнак спорит. «Ты, — говорит, — ничего не понимаешь».

Суванкул тогда покачал головой, усмехнулся.

— Верно, такой уж он нетерпеливый уродился. А название улицы он таки правильно придумал. Ведь все это стройки новых, молодых хозяев. Растем, прибавляется народ из года в год. В аиле уже не вмещаемся, новые улицы застраиваем. Это хорошо. Ну, а когда улица станет, то посмотришь, сын твой будет прав...

В тот час, когда мы вели этот разговор, мы не подозревали, что ночь эта была самая проклятая из всех ночей...

3

Подними голову, Толгонай, возьми себя в руки.

— Хорошо. Что же мне остается делать? Постараюсь. Ты помнишь, земля родная, тот день?

— Помню... Я ничего не забываю, Толгонай. С тех пор как стоит мир, следы всех веков во мне, Толгонай. Не вся история в книгах, не вся история в людской памяти — она вся во мне. И жизнь твоя, Толгонай, тоже во мне, моем сердце. Я слышу тебя, Толгонай. Сегодня твой день.

4

На другое утро солнце еще не всходило, мы приступили к работе. В тот день мы начали жать новую полосу, хлеба на самом обрыве у реки. Полоска была такая, что комбайну не развернуться, а колос уже сухой стоял — с краю всегда раньше поспевают. Только мы развернулись цепочкой, сжали снопа по два, как вдруг на той стороне показался скачущий всадник. Он выскочил из-за крайних дворов Заречья и, оставляя за собой хвост пыли, поскакал напрямик, через кустарники, через камыши, точно за ним кто гнался. Конь вынес его на прибрежный галечник. Но он, не сворачивая, погнал коня прямо по камням к реке. Мы удивленно разогнули спины: что за нужда гонит этого человека, почему он не сворачивает к мосту, который был ниже верстах в двух по течению? Всадник оказался русским парнем. Он с ходу понукал рыжего жеребца к воде, и мы все замерли: что он, ищет гибели? Разве можно в такое время шутить с рекой: при разливе не то что коня — верблюда унесет, костей не

соберешь.

— Э-эй, куда ты, остановись, остановись! — закричали мы.

Он что-то кричал нам, размахивая руками, но из-за гула реки ничего не разобрать, слышно было только протяжное:

— ...а-а-а-а...

Мы ничего не поняли. И тогда он вздыбил рыжего жеребца и, нахлестывая плетью, бросил его в стремнину. Вода сразу подхватила всадника. Среди бурунов только мелькала голова коня с прижатыми ушами и оскаленной мордой. Всадник обеими руками уцепился за гриву. Фуражку снесло с его головы, она закружилась на волнах. Мы метались по обрыву. Вода быстро уносила всадника, но он, приноровясь к течению, наискось пробивался к берегу. Его снесло далеко, и вышел он на берег ниже мельницы. Все мы облегченно вздохнули. Одни восхитились смелостью всадника, хвалили его: «Молодец!» — кто-то сказал, что неспроста это, надо бы разузнать, а другой недовольно вставил:

— Пьяный дурак какой-то, куражится, а вы будете бегать следам!

На том успокоились. Надо было работать. «Оно и правда, — подумала я, — трезвый человек не стал бы так рисковать собой».

Когда комбайн Касыма вдруг сразу заглох и остановился — а он в тот день обкашивал загон возле мельницы, — я не придавала этому значения: ремень приводной соскочил или цепь порвалась, мало ли какая поломка могла быть на работе. Алиман жала пшеницу недалеко от меня, и вдруг она вскрикнула пронзительным, страшным голосом:

— Мама!

Я встрепенулась. Она стояла бледная-бледная, выронив серп из руки.

— Что с тобой? Змея, что ли? — бросилась я к ней.

Она молчала. Я глянула в ту сторону, куда смотрели ее широко раскрытые, испуганные глаза, и обмерла. Возле комбайна раздавались какие-то крики, со всех сторон прямо по пшенице бежали люди, скакали конные, а иные, стоя в рост на бречках, нахлестывали кнутами коней.

— Что-то случилось, мама! — закричала Алиман и бросилась бежать.

Чьи-то слова резанули ухо:

— Под нож кто-то попал! Или в барабан закрутило! Бежим!

И все жнецы кинулись вслед за Алиман.

«Сохрани, боже! Сохрани, боже!» — взмолилась я, воздевая на бегу руки; прыгая через арык, с маху упала, вскочила и снова пустилась бежать. Ох, как я бежала тогда по пшенице! Крикнуть хочу, чтобы подождали меня, но не могу, голос пропал.

Когда я добежала, наконец, то вокруг комбайна шумела толпа. Я ничего не расслышала, не разобрала. Рванулась через толпу: «Стойте! Отойдите!» Люди расступились, я потянулась к сыну, как незрячая, с дрожащими руками, Касым шагнул навстречу, подхватил меня.

— Война, мама! — услышала я его голос будто издали.

Я глянула на него, словно не понимала, что это за слово такое.

— Война? Ты говоришь, война? — переспросила я.

— Да, мама, война началась, — ответил он.

А до меня все еще неясно доходило, что таилось за этим словом.

— Как война? Почему война? Ты говоришь, война? — повторяла я это странное, это страшное слово и потом вдруг ужаснулась и тихо заплакала от пережитого страха и этой неожиданной вести.

Слезы потекли по моему лицу, а женщины, глядя на меня, заголосили, запричитали.

— Тише! А ну, замолчите! — раздался в толпе чей-то мужской голос.

Все разом примолкли, словно ожидая, что он, человек этот, скажет что-то такое, что, мол, это неправда. Но он ничего не сказал. И никто ничего не сказал. Только стало так тихо в степи, что явственно донесся с реки гроыхающий гул воды. Кто-то шумно вздохнул, шевельнулся. Все опять насторожились, но никто не проронил ни слова. И опять стало так тихо в степи, что слышна стала жара, как тонкий писк комара над ухом. И тогда, оглядывая стоящих вокруг людей, Касым негромко пробормотал, словно бы для себя:

— Теперь надо быстрее управляться с хлебом, а не то под снегом останется. — Он помолчал и вдруг, резко вскинув голову, приказал штурвальному: — Что стоишь? Заводи мотор! А вы все, что смотрите? Не успеем с уборкой — вам же придется туго! Давай за работу!..

Народ зашевелился. И только тогда я заметила русского парня из Заречья. Он стоял в мокрой с головы до ног одежде, держа под уздцы потемневшего жеребца. Когда люди задвигались, нарочный словно очнулся, медленно поднял поникшую русую голову и стал подтягивать подпруги седла. И я увидела, что он был совсем молоденький парень, ровесник моему Джайнаку, только рослый, широкий в плечах. Мокрые пряди волос прилипли ко лбу, на губах и лице — свежие ссадины, а глаза его, совсем еще мальчишечьи, в тот час смотрели с таким суровым страданием, что я поняла: только что он оставил юность, только что возмужал, сегодня, в одно утро. Он тяжело вздохнул и, садясь в седло, сказал одному из наших айльских ребят:

— Слушай, друг, ты скачи сейчас, разыщи председателя, бригадиров, передай,

чтоб немедленно отправлялись в райком. А я поеду; мне еще в два колхоза. — С этими словами он сел на коня и тронул поводья.

Но тот, к кому он обращался, остановил его:

— Постой, шапку-то у тебя унесло. На, надень мою. Жарко сегодня.

Мы долго смотрели вслед юному гонцу и слушали, как тревожно рокотала сухая дорога под копытами рыжего, уносящегося птицей жеребца. Пыль вскоре скрыла всадника. А мы еще стояли у дороги, каждый, видимо, думая о чем-то своем, и, когда разом взревели моторы комбайна и трактора, люди вздрогнули и посмотрели друг на друга.

С этой минуты началась новая жизнь — жизнь войны...

Мы не слышали грохота сражений, но слышали наши сердца и крики людей. Сколько жила я на свете, не знала такой палящей жары, такого зноя. Плюнешь на камень — и слюна кипит. А хлеба созрели сразу, за три-четыре дня: сплошь стояли сухие и желтые, простирались под самый полог неба и ждали жатвы. Какое богатство было! И тяжело мне было смотреть, сколько добра пропадало в спешке. Сколько было потоптано, растеряно, растрясено по дорогам. Мы так спешили, что не успевали вязать снопы, кидали пшеницу вилами в мажары — и быстрее на молотилку, на тока, а колосья сыпались и сыпались по пути. Но и это ладно, еще тяжелее было смотреть на людей. Каждый день уходили по повесткам в армию, а те, что оставались, работали. И в полуденную жару, и в душные суховейные ночи — на жатве, на молотьбе, на обозах все работали и работали, не зная сна, не покладая рук. А работы прибавлялось и прибавлялось, потому что мужчин оставалось все меньше и меньше. Касым, бедный сын мой, неужто думал он сам одолеть то, что было уже невпроворот: жатва безнадежно затягивалась, а он как одержимый гонял свой комбайн по полю. И комбайн его не смолкал ни днем, ни ночью, снимал хлеб полосу за полосой, метался в тучах раскаленной пыли с загона на загон. Все эти дни Касым не сходил с комбайна, не отходил от штурвала. Днями стоял он на мостике под жгучим ветром, как коршун всматривался в мутное марево, за которым скрывались еще не убранные хлеба. Жутко и жалко мне было смотреть на сына, на его черное лицо, на его ввалившиеся, заросшие бородой щеки. Сердце обливалось кровью. «Ой, пропадет он, свалится на солнце», — думала я, но сказать не решалась. Знала я по злему блеску в его глазах, что не отступится он, до последнего часу будет стоять на жатве.

И час тот пришел. Как-то прибежала Алиман к комбайну и вернулась оттуда с поникшей головой.

— Повестку прислали ему, — тихо сказала она.

— Когда?

— Только что, с нарочным сельсовета.

Я знала, что рано или поздно придет черед Касыму идти в армию, как и многим другим. И все же, когда услышала я эту весть, ноги мои подогнулись. И такая боль заняла в намаявшихся руках, что я выронила серп и сама села на землю.

— Что ж он там делает, собираться надо, — проговорила я, с трудом совладев с дрожащими губами.

— К вечеру, говорит, приду. Я пойду, мама, а вы скажите отцу. И Джайнака не видно сегодня. Где он пропадает?..

— Иди, Алиман, иди. Да тесто поставь. Я подойду скоро, — сказала я ей.

А сама как сидела, так и осталась сидеть на жнивье. Долго сидела так. Сил не было поднять с земли платок, упавший с головы. И вот тогда, смотрю я, муравьи цепочкой бегут по тропке. Они тоже трудились, тащили солому, зерна и не подозревали, что рядом сидел человек со своим горем, тоже труженик, во всяком случае не меньше, чем они, труженик, который завидовал в ту минуту даже им, муравьям, этим крошечным работягам. Они могли спокойно делать свое дело. Если бы не война, разве стала бы я завидовать муравьиной жизни? Стыдно говорить...

Тем временем Джайнак прикатил на своей бричке. Он в те дни на комсомольском обозе работал по вывозке хлеба на станцию. Видно, узнал о повестке брата и приехал за мной. Джайнак соскочил с брочки, поднял платок и накинул мне на голову.

— Поедем, мама, домой, — сказал он и помог мне встать на ноги.

И мы молча поехали. За последние дни Джайнак неузнаваемо изменился, посерьезнел. Чем-то он очень напоминал мне того русского парня, нарочного. Такая же суровая душа поселилась в его детских глазах. В эти дни он также распростился с юностью. Многие тогда распростились с ней... Думая о Джайнаке, вспомнила, что давно уже нет вестей от Маселбека. «Что там с ним? В армию взяли или что? Почему не пишет, почему не может прислать хоть бы коротенькую весточку? Знать, отвык от дома, позабыл отца-мать, зачерствел там в городе. Да и какая сейчас учеба, лучше бы уж приезжал домой, что там теперь делать», — уныло думала я, сидя на бричке, и потом спросила у Джайнака:

— Джайнак, ты вот едешь на станцию, как там, не слыхать случайно, скоро закончится война?

— Нет, мама, не скоро, — ответил тогда Джайнак. — Плохи сейчас наши дела. Немец все гонит и гонит. Вот если бы нашим удалось где-нибудь удержаться да обломать им разок бока, тогда мы пошли бы. Думаю, скоро это случится. — Он замолчал, погоняя коней, потом оглянулся и сказал мне: — А ты, мама, боишься? Очень, да? А ты не думай, не надо, мама, тебе думать, не беспокойся. Все будет

хорошо, вот посмотришь.

Эх, глупый мой мальчишка, это он решил успокоить меня так, пожалел! Да разве же можно было не думать? Закрой я глаза, заткни уши — и все равно думать не перестала бы.

Приехали домой, а там Алиман сидит плачет; тесто еще не замесила. Зло взяло меня, хотела было пристыдить ее: «Что, мол, ты лучше других, что ли, все идут, не один твой муж. Разнюнилась, руки опустила. Нельзя так. Как же мы будем жить дальше?» Но раздумала, не стала выговаривать. Пожалела молодость ее. А может, напрасно, может, надо было сразу, с первых дней опалить ей душу, чтобы потом ей легче было. Не знаю, только я тогда ничего не сказала.

Касым пришел к вечеру, почти на закате солнца. Как только он появился в воротах, Алиман бросила подтапливать очаг, в слезах кинулась к нему, повисла на шее.

— Не останусь, не останусь я без тебя, умру!

Касым пришел прямо с комбайна, как был — в пыли, в грязи, в мазуте. Он снял с плеч руки жены и сказал:

— Постой, Алиман. Грязный я очень. Ты бы дала мне мыла, полотенце, пойду искупаюсь в реке.

Алиман обернулась, глянула на меня, я поняла. Сунула ей ведро порожнее:

— Принеси заодно воды.

В тот вечер они вернулись с реки поздно, луна уже на три четверти поднялась. Дома я управлялась сама да Джайнак помогал. А к полуночи и Суванкул заявился. Я-то все ждала, думала, куда он запропастился. А он, оказывается, еще днем поскакал в горы, иноходца саврасого привел из табуна. Мы его еще жеребенком покупали для Касыма, когда он трактористом начал работать. Добрый был иноходец, резвый на побегу, с крепкими гулками копытами, в белых чулках задние ноги. На весь аил был известный, девушки в песнях пели:

...Как заслышу иноходца по дороге, Выбегаю глянуть со двора...

Отец решил, видно, чтобы сын поездил на своем саврасом иноходце хоть день-два на прощанье.

Рано утром мы все выехали из аила в военкомат. Мы с Алиман на бричке Джайнака, а Касым с отцом на своих конях. То было время самых больших мобилизаций. Народу было еще много. Как глянула я на шоссе на дорогу — черным-черно, один конец в Большом ущелье, а другого не видно. Понаехало народу со всех поселков на конях, на быках. А в райцентре двинуться некуда от людей, от бричек. И детишки здесь, и старики, и старухи. И все возле своих толкутся, ни на шаг

не отстают. Кто плачет, а кто уже и подвыпил. Но недаром говорится: народ — море, в нем есть глубины и мели. Так же и здесь, в этих гомонящих проводах на войну, были твердые, ясные джигиты, которые крепко держались, говорили к слову и даже веселили народ, пели и плясали под гармонь. Киргизские и русские песни сменяли друг друга, а «Катюшу» пели все. Вот тогда-то я и узнала эту песню.

Мобилизованные не вместились в широком дворе военкомата, их построили рядами посреди главной улицы села и стали выкликать каждого по фамилии и имени. Народ сразу затих, затаил дыхание. Глянула я на тех, кто уходил на войну, — горячая волна подкатила к горлу. Все они были как на подбор — молодые, здоровые джигиты. Им бы только жить да жить, да работать. Каждый раз, когда выкликали кого-нибудь по списку, он отвечал «я» и бросал взгляд в нашу сторону. Я невольно вся вздрогнула, когда услышала: «Суванкулов Касым», и новая волна горячей боли застлала мне глаза. «Я», — ответил Касым. А Алиман крепко стиснула мою руку. «Мама», — прошептала она. Что ж я могла поделать, понимала я; трудно, страшно было ей расставаться, но кто может стоять в стороне от народа, да еще в лихие дни. Эх, Алиман моя, Алиман, и она понимала, что это нужда военная, нужда всей страны, но не знала я в жизни женщины, которая бы так любила своего мужа, как она.

В тот день мы вернулись в аил, узнали, что отправка будет через сутки. Касым уговорил нас уехать домой: незачем, мол, здесь томиться, забегу по дороге попрощаться. Благо колхоз наш лежит у большака. Мы оставили для Алимана лошадь Суванкула, а сами поехали вместе с другими на телеге. Джайнак тоже оставался в районе, он должен был везти на своей бричке мобилизованных на станцию.

Ночью, войдя в опустевший дом, я дала себе волю, зашлась слезами. Суванкул вскипятил чай, налил мне погуще, заставил выпить и потом сказал, сидя рядом:

— Кто мы были с тобой, Толгонай? Вот с этим народом мы стали людьми. Так давай поровну будем делить с ним все — добро и беды. Когда хорошо было, все были довольны, а теперь, выходит, каждый будет думать только о себе да на судьбу свою плакаться? Нет, так будет нечестно. Завтра держи себя в руках. Если Алиман убивается — так это дело другое, она не видела в жизни того, что мы видели. А ты — мать. Запомни это. А потом учти, если война подзатянется, то и я уйду, и у Маселбека годы выйдут, и его могут призвать. Если потребуется, все уйдем. Так что, Толгонай, готовь себя ко всему, привыкай...

На другой день после полудня началась отправка. Касым и Алиман опередили колонну, прискакали на рысях. Касыму разрешили заехать домой попрощаться. Глаза Алимана опухли, как волдыри, — видно, всю дорогу плакала. Касым старался держаться, крепился, но и ему было нелегко. Вот уж не знаю, что заставило Касыма

придумать такое: то ли он побоялся за Алимана, решил как-то облегчить ей расставание, то ли и вправду ему было сказано так, но он, как только сошел с коня, сразу попросил нас не ехать на станцию. Касым сказал, что, может быть, еще вернется домой, потому что трактористов и комбайнеров решили пока не призывать до конца уборки. И если приказ поспеет, то их могут вернуть со станции. Теперь-то я понимаю, что он пожалел Алимана, пожалел нас. До станции почти день езды, а каково возвращаться назад — ведь дорога станет нескончаемой, слез не хватит. А тогда я поверила; говорят, надежда живет в человеке до смерти. Но когда мы вышли провожать его к большаку, я уже сомневалась.

По дороге с Касымом прощались все, кто работал на уборке. Прибежали жнецы, возчики, молотильщики с гумна, и комбайн оказался неподалеку. Помощники Касыма остановили комбайн поблизости и тоже прибежали проститься.

Говорят, кузнец, уходя на войну, прощается с наковальней и молотом. А Касым мой был мастером, кузнецом своего дела. Когда комбайн остановился, Касым, разговаривая с односельчанами, глянул на дорогу. В тот момент растянувшаяся колонна мобилизованных с обозом, с конями, с красным знаменем во главе только показывалась на повороте.

— На, отец, поддержи! — Касым отдал поводья саврасого Суванкулу, а сам направился к комбайну. Он обошел его, оглядел со всех сторон. И потом вдруг взбежал на мостик. — Давай, Эшенкул, гони! Гони, как тогда! — крикнул он трактористу.

Моторы, что чуть слышно работали на пол-оборотах, зарокотали, взревели, комбайн загрохотал, залязгал цепями и, выбрасывая из молотилки соломенный буран, пошел захлестывать пшеницу мотовилами. А Касым подставил лицо горячему ветру, смеялся, расправляя плечи, и, казалось, обо всем забыл. Они с трактористом о чем-то перекрикивались, кивали головами, развернулись в конце загона и снова пошли. Комбайн летел по полю, как степная птица. И мы все забыли на минуту о войне. Люди стояли со счастливыми глазами, но больше всех горда была Алимана. Она тихо шла навстречу комбайну и тихо смеялась. Комбайн остановился. Мы снова помрачнели. А Бекташ — сынишка соседки нашей Айши, ему было тогда лет тринадцать, он в то лето солощиком работал на комбайне — кинулся к Касыму и стал целовать его, плакать. Я губы себе искусала, хотела закричать в голос, но, помня наказ Суванкула, не посмела. Касым поднял на руки Бекташа, поцеловал его, поставил парнишку к штурвалу и медленно сошел по лесенке вниз. Мы его обступили. Здесь он простился с помощниками своими, со штурвальным и трактористом. Надо было поторапливаться. Колонна на большаке поравнялась уже с нами.

Вот так мы провожали Касыма. А когда настала минута садиться ему на коня, то

Алиман, бедная Алиман, не посмотрела ни на старших, ни на малых — крикнула и замертво повисла у него на плечах. А сама без кровинки в лице, только глаза горят. Мы ее силком оторвали. Но она вырвалась и снова бросилась к мужу. И вот так каждый раз, как дитя малое, тащила Касыма за руку, не давала ему ногу вдеть в стремя. Молила его:

— Пстой! Минутку! Еще одну минутку!

Касым целовал ее, уговаривал:

— Да не плачь ты так, Алиман! Вот увидишь, я завтра же вернусь со станции.

Поверь мне!

И тогда Суванкул сказал снохе:

— Ты иди, Алиман, проводи его сама до дороги. А мы простимся здесь. Не будем задерживать. — Суванкул взял сына за руку и тихо сказал: — Посмотри мне в глаза.

Они посмотрели друг другу в глаза.

— Ты меня понял? — спросил отец.

— Да, отец, понял, — ответил сын.

— Ну, отправляйся с богом! — Суванкул сел на коня и, не оглядываясь, поскакал прочь.

Прощаясь со мной, Касым сказал:

— Если будет письмо от Маселбека, пришлите его адрес.

Касым и Алиман пошли к дороге, ведя на поводу саврасого иноходца. Я не спускала с них глаз. Колонна на большаке уже уходила. Сначала Алиман бежала, ухватившись за стремя, потом Касым нагнулся с седла, поцеловал ее в последний раз и пустил саврасого большой иноходью. А Алиман все бежала и бежала за пылью копыт. Я пошла следом, привела ее домой.

На другой день к вечеру со станции вернулся Джайнак, расседланный иноходец был привязан к заднику брички.

5

Вдали шла битва, лилась кровь, а нашей битвой была работа. Правильно предупреждал Касым: сколько мы ни старались, а последние хлеба снег прихватил на корню и на гумнах. Картошка кое-где осталась под снегом, не успели выкопать. Мужчины уходили один за другим, изо дня в день, все на фронт. А мы с утра до вечера в колхозе, разговоры только о войне — как там да что там, и самым желанным человеком в домах стал почтальон.

После того как проводили Касыма, неделю спустя пришло письмо от Маселбека. В

первом письме он писал, что его с товарищами по учебе призвали в армию, местопребывание пока там же, в городе. Он просил не печалиться, что не пришлось увидеться, попрощаться — кто мог знать, что так случится, жалеть об этом не надо, самое главное — вернуться с победой. Второе письмо он прислал уже из Новосибирска. Писал, что учится там в командирском училище, и фотокарточку свою прислал. Эта карточка и сейчас висит под стеклом, потускнела уже. Красивая фотография: военная форма ему идет, густые волосы зачесаны назад, а глаза смотрят чуточку печально, задумчиво. Таким он мне и снится до сих пор... Алиман только раз видела Маселбека, когда он приезжал на денек на свадьбу брата.

— Смотри, мама, а Маселбек наш красивый парень, оказывается, — говорила она, разглядывая фотографию. — В тот раз я его и не разглядела толком из-за занавесок, неудобно мне было, невесте, пялить оттуда глаза, постеснялась. Вот хорошо было бы, если бы он вернулся и нашел себе девушку, такую же образованную, как он сам, и красивую. Правда, хорошо было бы, да, мама?

Я соглашалась и сама начинала мечтать об этом дне.

До середины зимы более или менее спокойно было у меня на душе, письма получала от сыновей и довольствовалась этим. Но тут пришло письмо от Касыма, что направляются они в сторону фронта. И затаился в душе страх, сердце замирать стало. А тут еще Суванкула начали то и дело вызывать по повесткам в военкомат. Что ни день — то на комиссию, то на учет, то на переучет. Он прямо извелся, разрываясь между поездками в военкомат и бригадирскими делами в колхозе. Я почему-то не думала, что Суванкула возьмут в армию: ведь без бригадира в колхозе все равно что без рук. Однако призвали и его. Узнала я об этом на току, где мы домолачивали прихваченный снегом хлеб. Я как узнала — уткнула вилы в солому, прислонилась лицом к холодному черенку и стояла так, с мыслями не могла собраться. Как быть, как жить дальше? Двое сыновей уже там, теперь муж уходит туда же, на фронт...

Тут и сам Суванкул прискакал, молча слез с коня, подошел ко мне и сказал:

— Пошли домой, собираться надо.

Я ехала на лошади, а он шел рядом, сказал, что разговаривать на ходу будет удобнее. Но разговор наш не клеился, больше молчали. Не оттого что не о чем было, а оттого, что тяжело было, сковывалось все внутри, слово выдавить страшно. Так мы и двигались — я на коне, а он пешком. Мутные, серые тучи застилали небо. С Желтой равнины тянуло сиверком, поземка пошевеливалась, кураи посвистывали к бурану. Я глянула по сторонам — поле лежало унылое и пустое. Без людей, без звуков, без движения, холодное и сумрачное.

Суванкул шел, курил сигарку за сигаркой. Потом взял меня за руку.

— Замерзла? — спросил он.

Я ничего не сказала. И он, собираясь что-то сказать, промолчал. Может, хотел поделиться думкой: «Вот, мол, ухожу вслед за сыновьями. Как оно там будет, суждено ли вернуться домой или же нет... Может, нынче навеки распрощаемся. Если так, то что ж, столько лет прожили мы в дружбе и согласии. Если что, простим друг другу. Неизвестно ведь, как обернется судьба». Хотел ли он сказать эти слова или другие, кто его знает, только тогда, глядя мне в лицо, он стоял молча, прикусив губу. Мне бросилось в глаза, что в бурых усах его начал пробиваться седой волос. Раньше я этого как-то не замечала.

Вспомнила я, как мы с Суванкулом встретились на этом поле молодыми, как двадцать два года вместе трудились здесь, проливали пот, детей растили, хлеб растили, и вся наша жизнь в мгновение предстала перед глазами. Не думала, не гадала я никогда, что придется нам так разлучаться, быть может навсегда. Вспомнила, как мы летом, в первый день жатвы, ночью ехали на коне по этой же дороге. Увидела, что новая улица на краю аила осталась заброшенной и недостроенной, увидела на усадьбе Алимана и Касыма кучу камней и кирпичей, упала на гриву коня и зарыдала. Долго плакала я. Суванкул молча терпеливо ждал, а потом сказал:

— Ты, Толгон, выплачь сразу все, что на душе, тут никого нет, но отныне при людях не показывай слез. Ты теперь остаешься не только хозяйкой дома, не только головой над Алиманом и Джайнаком — тебе придется и бригадиром остаться вместо меня. Больше никому.

Я еще пуще залилась слезами:

— На кой черт мне твое бригадирство? Как ты можешь говорить об этом в такой час? Не нужно мне ничего. Слышать даже не хочу!

Но вечером меня вызвали в контору правления колхоза. Здесь был наш новый председатель — раненый фронтовик Усенбай, Суванкул и еще несколько стариков, айльных аксакалов. Усенбай сразу сказал мне:

— Что ни говори, тетушка Толгонай, а придется по-мужски, крепко подпоясаться и сесть на бригадирского коня. Землю, и воду, и народ нашего аила никто лучше вас не знает. Мы вам верим, верим еще и потому, что вам верит наш лучший бригадир, которого мы теперь, стиснув зубы, провожаем на фронт. Ничего не поделаешь. С завтрашнего дня беритесь за работу, тетушка Толгонай.

Аксакалы тоже стали советовать. В общем уговорили меня, согласилась я быть бригадиром. Да и как было не согласиться? Разве я не понимала, какое время мы переживали? Правильно я поступила, хотя бы даже потому, что это была последняя воля моего Суванкула. В ту ночь он до утра не спал, все наказы мне давал. Начинай

готовиться к весне, тягло поставь на отдых, ремонтируй плуги, бороны, брочки... Присмотри за многодетными семьями, за стариками... То делай так, это эдак... Эх, беспокойный человек мой, милый муж мой, друг сердечный...

И до самого утра не утихала на дворе метель, ветер гудел в трубе.

Суванкула мы провожали тоже на большаке. Он сел в брочку Джайнака вместе с такими же пожилыми людьми, и они укатили по бурану, скрылись в снежной мгле. Ох, как холодно было, лютый ветер лицо обжигал. Я шла медленно, часто оглядывалась и всхлипывала, плакала.

С того дня, как сказал наш председатель Усенбай, туго подпоясалась я, села на коня и вступила в свои обязанности бригадира. И сейчас эта работа не из легких, не каждому по плечу, а тогда и подавно — мука одна. Здоровых мужчин не осталось — больные да хромые, а остальные работники — женщины, девушки, дети, старики. Все, что добывали, отдавали фронту. А в хозяйстве телеги без колес, упряжь — обрывки веревочные, хомуты разбитые, в кузнице и угля нет. Стали мы жечь джерганак колючий по суходолу в поймище, тем и не давали угаснуть горну. А житье — не прежнее, голод застучался в дома. И все же мы делали все, чтобы не остановилось хозяйство колхозное, тянули его сколько хватало сил. Как вспомню теперь: ради дела к кому с добрым словом подойдешь, к кому с выговором, а то чуть и не за волосы таскались, всякое бывало, чего я только не натерпелась тогда... А все равно и сейчас в ноги кланяюсь народу за то, что в те дни народ не разбрелся, остался народом. Тогдашние женщины — теперь старухи, дети — давно отцы и матери семейств, верно, они и забыли уже о тех днях, а я всякий раз, как увижу их, вспоминаю, какими они были тогда. Встают они перед глазами такими, какими были — голые и голодные. Как они работали тогда в колхозе, как они ждали победы, как плакали и как мужались! Не знают они, что бессмертные дела совершили. И никогда, что бы ни приходилось переносить, как бы ни сгибались плечи мои, никогда не пожалею я, что работала бригадиром. С самого рассвета я была уже на ногах, на колхозном дворе, потом целый день в седле, то туда надо, то сюда, то в степь, то в горы, с вечера до поздней ночи в конторе — вот так и не замечала, как пролетали дни. Быть может, меня это и спасло. И пусть иной раз с досады, с горя ругали меня, хватали за горло, бросали работу — не в обиде я. Нет, в таких случаях я больше наваливала работу на Джайнака и Алимана, днем и ночью не было им покоя, и тоже не каюсь, что гоняла их безжалостно. А не то тягостные мысли, страх задавили бы нас — ведь три человека из одной семьи на войне, разве можно было не думать? От Касыма второй месяц не было ни слуху ни духу. Мы с Алиманом прячем глаза, чтобы не заговорить о том, что и без того страшно, — о Касыме. Если разговаривали, то о том, о сем, о работе, о хозяйстве по дому. Как дети, старались не

напоминать.

В один из зимних дней с утра побежала я в кузницу помочь. Там перековывали наших рабочих коней. Смотрю, председатель наш Усенбай летит на рысях, а в руке у него бумажка небольшая, с ладонь. Телеграмма, говорит, вам срочная. У меня дух перехватило. Слышу только, как в кузнице молоты стучат по наковальне, точно бьют меня по груди. Видно, лица на мне не было.

— Да вы что, тетушка Толгонай! — вскричал председатель. — Это же телеграмма от Маселбека, из Новосибирска. Да подойдите же, возьмите, не бойтесь! — И, нагнувшись с седла, отдал мне эту бумажку. — Вы, — говорит, — немедленно отправляйтесь на станцию, сын ваш будет проезжать, хочет увидеться, просит встретить. Я там велел заложить вам бричку, сена, овса лошадям велел прихватить. Не стойте, собирайтесь в дорогу.

И такая радость обуяла меня! Засуетилась я, забегала по кузнице и не знаю, что делать. Кузнецы прогнали меня.

— Сами, — говорят, — управимся, бригадир, езжай быстрее на станцию, чтобы не опоздать.

И побежала я домой. Сама толком не понимаю, что к чему. Знаю только одно: что Маселбек просит приехать на станцию, что Маселбек просит увидеться. Бегу по улице, жарко от мороза, пот прошиб. Бегу и сама с собой разговариваю, как ненормальная:

— Что значит просит? Да я, сынок мой, пешком тысячу верст буду бежать к тебе, как на крыльях долечу!

Эх, мать, мать... Не подумала я в тот час, куда же проезжает мой сын, в какую сторону.

Прибежала домой, наспех всякой снеди наделала, мяса наварила, ведь там небось Маселбек не один, а с товарищами, пусть угостит их домашней стряпней. Уложила все это в переметный курджун, и в тот же день мы с Алиман выехали на станцию. Сперва я хотела поехать с Джайнаком. Но он сам отказался.

— Нет, — говорит, — мама, лучше будет, если поедет Алиман, а я дома останусь по хозяйству. Так оно будет вернее.

Потом-то я поняла, правильно поступил мой младший сын. Хоть и мальчишка он был, а неглупый. Он-то, оказывается, догадывался, что творилось на душе Алиман в те дни, как она переживала и страдала. Джайнак сам сбегал на сенной двор, где работала Алиман, сам позвал жену брата. Давно я не видела невестку такой радостной. Засветилась вся, загорелась, захопотала больше, чем я, и стала торопить меня:

— Быстрее, мама, быстрее собирайся. Вот твоя шуба, вот платок пуховый, одевайся, поехали!

И в дороге тоже места себе не находила.

— Погоняй, погоняй быстрее! — торопила она возчика, а иногда выхватывала у него из рук вожжи и сама, гикая, нахлестывала лошадей.

Бричка ходко катила по наезженному насту, лошади шли бодро, мягко гремели, мягко постукивали колеса на смазанных осях. Всю дорогу шел снег — ровный такой, веселый. Стоял легкий морозец. Алиман была в снегу, но она не знала, как это ей идет. Снег густо налипал ей на голову, на полушалок, на выбившиеся пряди волос, на воротник, и ее смуглое лицо с разлившимся на щеках румянцем, ее сияющие черные быстрые глаза и белые зубы казались еще красивее. В молодости человеку все идет — даже снег. Алиман не умолкала всю дорогу. То она просила меня молчать, когда сойдет с поезда Маселбек, не говорить о ней: узнает он ее или нет? То собиралась незаметно подойти к Маселбеку сзади и закрыть ему глаза: что скажет он, перепугается, наверно, скажет, кто это еще здесь с шутками глупыми? И сама смеялась, хохотала над своими придумками. Эх, Алиман, Алиман, невестушка моя сердечная! Неужто думала она, что не догадываюсь я, почему она вела себя так? Да она и сама проговорилась. Замолчала вдруг, перестала смеяться и тихо пробормотала:

— Маселбек очень похож на Касыма. Они как близнецы, правда ведь?

Я сделала вид, будто не расслышала. А она помолчала, думая о чем-то своем, и потом снова выхватила вожжи у паренька и снова, гикая, погнала лошадей.

К вечеру мы были уже на станции. Только остановили мы бричку — и сразу же побежали с Алиман на пути, словно Маселбек должен тотчас же прибыть. Там никого не было. Мы огляделись по сторонам и приуныли, стоим, как сироты, куда идти, что делать — не знаем. Между рельсами по шпалам бежала поземка. Паровоз ползал взад и вперед, со скрежетом и лязгом страгивал заиндевевшие, примерзшие к месту вагоны. В проводах посвистывал ветер.

Нам не приходилось раньше встречать поезда, мы даже не догадались расспросить кого-нибудь что к чему — когда поезд надо ждать. Тем временем издали слышался гудок паровоза, показался поезд.

— Идем, мама! — сказала Алиман.

У меня коленки задрожали, страшно стало. Поезд быстро приближался. Вот и паровоз прошел в снежной пыли. Поезд остановился. Мы бросились бежать вдоль состава. В вагонах было битком народу. Женщины, дети, но много и солдат. Кто его знает, кто они были и куда ехали. Мы останавливались возле каждого вагона и спрашивали:

— Здесь Суванкулов Маселбек? Скажите, пожалуйста, нет здесь Суванкулова

Маселбека?

Одни отвечали, что не знают, другие молчали, а иные усмехались. Пока мы бегали, поезд тронулся и ушел. Всего-то три минуты, оказывается, остановка на нашей станции. Мы остались стоять, словно птицу выпустили из рук. Тут к нам подошел пожилой русский железнодорожник в черном полушубке, в валенках. Я заметила его, как он выходил навстречу поезду. Он спросил нас, кого мы ожидаем. Мы рассказали ему, дали почитать телеграмму Маселбека. Он надел очки, долго шевелил губами и сказал затем:

— Сын ваш едет воинским эшелоном. А какой эшелон и в какой час он будет проходить по станции — неизвестно. Если не опоздает, то должен сегодня ночью или завтра прибыть. А может быть, эшелон уже прошел. Сколько теперь эшелонов каждый день в ту или другую сторону проносится, иные и не останавливаются даже, напролет идут.

Мы совсем повесили головы.

— Эх, война, война, — вздохнул железнодорожник, — перевернула все вверх дном. Ну что ж вы будете стоять на ветру? Идите на станцию, там комнатка для ожидающих есть. Сидите там, а когда поезда будут проходить, выходите встречать... Другого выхода нет.

В станционной комнатке было человек десять. Они лежали на скамейках. Жизнь, должно быть, погоняла их по дорогам, по станциям, привыкли, наверно, чувствовали себя здесь как дома. Одни спокойно спали, другие переговаривались, курили, в углу двое пили из жестяных кружек горячий кипяток — обжигались, дули на воду, а один тихо наигрывал на гитаре и что-то тихо напевал себе под нос. Десятилинейная лампа с разбитым нечищенным стеклом помигивала, коптила. Оглядевшись в полутьме, мы с Алиман тоже примостились с краю скамейки. Посидели немного, но тут послышался шум поезда, и мы опрометью кинулись к двери. Ветер во тьме рванул за полы и рукава. Поезд был сплошь из товарных вагонов. Солдат в них не видно было, но мы бежали вдоль поезда и выкрикивали:

— Здесь Суванкулов Маселбек?

— Суванкулов Маселбек здесь?

Никто не откликнулся, никого не было. Когда мы вернулись на станцию, там уже все спали.

— Мама, приляг немного, отдохни, а я постерегу поезд, — сказала Алиман.

Я прислонила голову к плечу невестки, думала, вздремну, но где там. Какой мог быть сон? Да и как можно думать о сне, если не только слухом — сердцем, разумом угадываешь приближение поездов, но даже чуешь под ногами за тридевять земель

первое неуловимое содрогание пола и сразу спохватываешься. С какой бы стороны поезд ни шел, мы вскакивали, хватали курджун и выбегали на пути.

Эшелоны шли, но ни в одном из них Маселбека не было. В полночь снова заходила земля под ногами, мы спохватились, выскочили наружу. С обоих концов ущелья одновременно слышались раскатистые гудки паровозов, поезда шли сразу с двух сторон. Растерялись мы, заметались и очутились посреди двух колеи. С оглушительно нарастающими гудками сошлись поезда и, не останавливаясь, все быстрее и быстрее набирая бег, пошли напролет. И застучали колеса, заревел ветер, замотал нас в снежном вихре, норовя кинуть под вагоны.

— Мама! — закричала Алиман и, обхватив меня, прижала к столбу фонаря, крепко стиснула в объятиях и не отпускала.

Я всматривалась в проносящиеся, как молнии, окна: а вдруг увижу Маселбека, а вдруг мой сын там и я не знаю об этом? Рельсы стонали под бегущими колесами, так же как сердце мое, охваченное страхом за сына. Поезда промчались мимо, унося за собою тучи снега, а мы долго еще стояли, прижавшись, у фонаря.

До самого рассвета мы с Алиман не присели, то и дело бегали взад-вперед вдоль эшелонов. Перед рассветом, когда буран вдруг стих, на станцию подошел с запада еще невиданный нами эшелон: вагоны все обгорелые, с сорванными крышами и выбитыми дверями. Во всем эшелоне — ни живой души. В пустых вагонах тишина, как на кладбище. Пахло дымом, горелым железом, обуглившимися досками и краской.

Наш вчерашний железнодорожник в черном полушубке подошел с фонарем.

Алиман спросила у него шепотом:

— Что это за эшелон?

— Бомбили его, — шепотом ответил он.

— А куда теперь эти вагоны?

— На ремонт, — так же тихо ответил железнодорожник.

Я слушала этот разговор и думала о тех, кто ехал в этих вагонах, кто в дыму, криках и пламени расстался с жизнью, о тех, кому оторвало руки и ноги, кто оглох и ослеп навеки... А ведь эти бомбы — лишь отголосок войны. Что же тогда сама она?

Долго стоял разбитый эшелон на станции, потом тихо тронулся и, печально погромыхая, укатил куда-то. Смотрела я ему вслед с черной тоской в душе: вон и Маселбек отправится туда, откуда пришел разбитый эшелон. А что с Касымом? Как Суванкул? Он писал, что находятся они где-то под Рязанью. Ведь это, наверно, не так уж далеко от фронта...

Настало утро. Пора было уезжать — сено у лошадей кончилось. А вдруг Маселбек не проезжал еще, тогда как? Столько ждали, разве не обидно будет? По-всякому

думали, решали мы с Алиман. Но уехать не посмели.

Погода была, как и вчера, ветреная, холодная. Недаром называют станционное ущелье караван-сараем ветров. Вдруг тучи развеялись, и солнышко проглянуло. «Эх, — подумала я, — вот бы и сын мой блеснул вдруг, как солнышко из-за туч, появился бы на глаза хоть разок...»

И тут послышался вдали шум поезда. Он шел с востока. Мощный двукратный гудок паровоза прокатился по ущелью.

Земля затряслась под ногами, рельсы загудели. С грохотом, в дыму, в пару, с красными колесами, с жаркими огнями пронеслись два черных паровоза, за ними на платформах — танки, пушки, укрытые брезентом, подле них часовые в шубах, с винтовками в руках, мелькнули солдаты в приоткрытых дверях теплушек, и пошли — вагон за вагоном — проносить на мгновение лица, шинели, обрывки песен, слов, звуки гармоней и балалаек. Засмотрелись мы. Тем временем прибежал какой-то человек с красными и желтыми флажками в руках, закричал на ухо:

— Не остановится! Не остановится! Прочь! Прочь с путей! — И стал отталкивать нас.

В эту минуту раздался рядом крик:

— Мама-а-а! Алима-а-ан!

Он! Маселбек! Ах ты, боже мой, боже! Он пронесился мимо нас совсем близко. Всем телом перегнулся из вагона, держась одной рукой за дверь, а другой махал нам шапкой и кричал, прощался. Я только помню, как вскрикнула: «Маселбек!» И в тот короткий миг увидела его точно и ясно: ветер растрепал ему волосы, полы шинели бились, как крылья, а на лице и в глазах — радость, и горе, и сожаление, и прощание! И, не отрывая от него глаз, я побежала вдогонку. Мимо прошумел последний вагон эшелона, а я еще бежала по шпалам, потом упала. Ох, как я стонала и кричала! Сын мой уезжал на поле битвы, а я прощалась с ним, обнимая холодный железный рельс. Все дальше и дальше уходил перестук колес, потом и он стих.

И сейчас еще порой кажется мне, будто сквозь голову пронесится этот эшелон и долго стучат в ушах колеса.

Алиман добежала вся в слезах, опустилась рядом, хочет поднять меня и не может, захлебывается, руки трясутся. Тут подросла русская женщина, стрелочница. И тоже: «Мама! Мама!» — обнимает, плачет. Они вдвоем вывели меня на обочину, и, когда мы шли к станции, Алиман дала мне солдатскую шапку.

— Возьми, мама, — сказала она. — Маселбек оставил.

Оказывается, он бросил мне свою шапку, когда я бежала за вагоном.

Я ехала домой с этой шапкой в руках; сидя в бричке, крепко прижимала ее к груди.

Она и сейчас висит на стене. Обыкновенная солдатская серая ушанка со звездочкой на лбу. Иногда возьму в руки, уткнувшись лицом и слышу запах сына.

6

— Скажи, земля родная, когда, в какие времена так страдала, так мучилась мать, чтобы только один раз, только мельком увидеть своего сына?

— Не знаю, Толгонай. Такой войны, как в твое время, мир не знал.

— Так пусть я буду последней матерью, которая так ждала сына. Не приведи бог никому обнимать железные рельсы и биться головой о шпалы.

— Когда ты возвращалась домой, еще издали можно было догадаться, что ты не встретишься с сыном. Ты была желтая, с запавшими, измученными глазами, как после долгой болезни.

— Уж лучше бы я действительно пролежала месяц в горячке.

— Бедная моя Толгонай. В тот год седина побила твою голову. А какие были прежде тяжелые и густые твои косы... Молчаливой ты стала тогда, суровой. Молча приходила сюда и уходила, стиснув зубы. Но мне-то понятно было, по глазам видела — с каждым разом трудней и трудней становилось тебе.

— Да, мать земля, поневоле станешь такой. Если бы только я одна была — ведь не осталось ни одной семьи, ни одного человека, не схваченного за горло войной. И когда приходили черные бумаги — похоронные — и в аиле в один день сразу в двух-трех домах поднимались плач и проклятья, вот тогда закипала кровь и месть темнила глаза, сжигала сердце. Я горжусь, что именно в те дни я была бригадиром, хлебала свое и чужое горе, делила с народом все невзгоды, голод и холод. Потому и выстояла я, за других выстояла, а иначе упала бы я и война растоптала бы меня в пыль. Поняла я тогда, что на войну только одна управа — биться, бороться, побеждать. Иначе смерть! Вот потому-то, поле мое родимое, я появлялась здесь всегда на коне и не тревожила тебя, молча здоровалась и молча поворачивала назад.

7

Настал день, когда от Касыма пришло письмо. Я вскочила на коня и пошла галопом, не разбирая пути, через арыки, через сугробы, с письмом в руке. Алиман и Джайнак разбрасывали здесь кучи навоза, и я закричала им на скаку:

— Суйунчу, суйунчу — радость!

Как же было не порадовать их! Ведь от Касыма два месяца подряд не было ни

строчки, не знали мы, что с ним. А в письме он писал, что два раза стоял в обороне под Москвой и оба раза вышел живым. Писал, что немцы остановились, что сломали им зубы, и о том, что полк ихний отвели на передышку.

А Алиман как обрадовалась! Спрыгнула с брички — и наперегонки с Джайнаком, обогнала его.

— Мама, масла в твои уста! — Схватила письмо дрожащими руками, зашлась от счастья, читать не может. Только твердит одно: — Жив! Жив-здоров!

Тут подбежали женщины, обступили ее.

— А ну, прочти, Алиман, что пишет муж? Может, о наших что знает?

А она:

— Сейчас, милые, сейчас! — И ни строчки не может прочесть.

Джайнак не утерпел:

— Дай-ка сюда, людям надо прочесть. — Взял письмо и стал читать вслух.

А Алиман присела на корточки, хватает снег горстями и прикладывает ко лбу. Джайнак кончил читать, она встала и даже лицо забыла утереть, стоит с тающими ручейками на лице, разгоряченная, радостная.

— Ну, теперь пойдете работать! — тихо сказала она и медленно пошла по снегу.

Шла и тихо оглядывалась по сторонам. О чем она думала в тот час — кто ее знает, может, о том, как летом бежала она здесь по жнивью к мужу с кувшином в руке. А может, о том, как Касым прощался здесь с комбайном. Алиман, казалось мне, заново переживала все дорогое ей, памятное. Глаза ее то улыбались, то меркли. Она долго смотрела в сторону большака, вспоминала, наверное, как уходил по дороге саврасый иноходец, как гудела под копытами земля и как она бежала за Касымом.

А Джайнак шел рядом и стал дразнить ее, тормошить:

— Да ты очнись, наконец, приди в себя. Ты понимаешь, что над тобой теперь будет смеяться весь аил. Письмо не могла прочитать, эх ты! Я вот напишу Касыму, скажу, что жену твою отдал в школу, снова в первый класс, азбуку учить!

Алиман принялась колотить его, а потом они побежали к бричке и гонялись друг за другом.

А я шла и думала. Конечно, кому же и защищать народ, если не таким джигитам, как мои сыновья! Только бы они живыми вернулись, с победой. А все остальное переживем, перетерпим, пусть кожа да кости останутся, только бы до победы дожить. Скорей бы уж, скорей бы победа! И потому что это было не только моим желанием, а мечтой и целью всего народа, ради этого на все шла, со всем соглашалась.

Даже когда самый младший и последний мой сын Джайнак ушел на фронт, а ему восемнадцати еще не было, стиснула я зубы, смолчала, стерпела.

К концу зимы частенько стали его вызывать в военкомат. Не его одного, а многих ребят, обучали их там военному строю. Ну, это было дело привычное, я и не очень беспокоилась. Погоняют, погоняют их там дней десять и распускают по домам. Однажды он что-то быстро вернулся домой, на второй же день.

— Что это тебя так скоро отпустили? — удивилась я. — Или совсем освободили?

— Нет, мама, — ответил Джайнак, — завтра я снова уйду. Разрешили денек побывать дома. В этот раз нас подольше задержат, так что ты не беспокойся.

А я и поверила, нет чтобы догадаться. Ведь он как-то странно вел себя в тот день, словно собирался в дальний путь. С молотком, с гвоздями ходил целое утро, что-то подбивал, приколачивал. А потом, смотрю, дров наколот кучу, навоз убрал на задворье, сено, что было сложено на крыше сарая, перебрал, подсушил. К вечеру пришла, смотрю — он двор вымел, привел в порядок развалившиеся конские ясли. Они нужны были, когда отец был дома, он любил коня держать при себе.

— Зачем ты возишься, сынок, летом успеешь починить, — сказала я ему.

Но он ответил, что надо сделать тогда, когда время есть, а потом некогда будет. И тогда недомыслила я, не подумала ни о чем. Ведь он добровольно ушел на фронт, по комсомольскому призыву. А узнали мы об этом, когда Джайнак был уже в пути. Письмо передал он с товарищем со станции. Вот ведь негодник этакий, сынок мой бедный, хоть ты и написал письмо, но разве можно было так уходить, не простившись? Да пусть я с ума сойду, все равно надо было сказать. Он просил в том письме у нас с Алиман прощения за то, что молча ушел. Так, говорит, легче, отрубить одним разом. Я, говорит, хотел, чтобы вы меньше переживали, чтобы сразу узнали о моем решении и, узнав, примирились, согласились со мной. Кто его знает, может, он и прав. Конечно, трудно ему было сказать мне в лицо, а может, побоялся, что я стану плакать, отговаривать, упрашивать...

И сейчас, когда я уже лишилась его и прошло уже столько лет, я веду с ним разговор так же, как с матерью землей.

Джайнак, послушай меня! Пусть тебя не мучит совесть, не в обиде я, нет. Я тогда еще простила тебя, Джайнак, сынок мой младшенький, жеребенок мой, весельчак мой! Думаешь, я не понимала, почему ты ушел, не простившись, почему ты оставил меня одну, почему ты оставил юность, молодость, жизнь свою будущую? Ты был озорной, шумный парень, и не все знали, как ты любил людей. Не смог ты спокойно смотреть на наши страдания и ушел. Ты очень хотел, чтобы люди оставались людьми, чтобы война не калечила в людях живую человеческую душу, чтобы она не вытравляла из них доброту и сострадание. И ты все сделал для этого. На свете остаются жить только добрые дела, все остальное исчезает. И твое доброе дело осталось жить. Ты давно

погиб, пропал без вести. Ты писал, что ты парашютист. Что три раза ходил в тыл врага. И вот в какую-то темную ночь сорок четвертого года ты спрыгнул с самолета вместе со своими товарищами, чтобы помогать партизанам, и пропал без вести. Погиб ли ты в бою, или шальная пуля настигла, или попал в плен, или в болоте утонул — никто не ведает. Но если б ты был жив, то хоть маленькая весточка объявилась бы за эти годы. Да, Джайнак, вот так и не стало тебя. Ты ушел совсем молодым, восемнадцати лет, и не очень крепко остался в памяти людей. Но я помню тебя и всякий раз вспоминаю, как ты ушел на фронт, не посмеяв сказать мне об этом, потому что ты любил и жалел меня. Вспоминаю, как ты отдал мальчику на станции свой полушубок. Увидел на станции семью эвакуированную — мать и четверых детей — и отдал старшему мальчишке, совсем раздетому, полушубок, а сам вернулся домой в одном пиджачке — зуб на зуб не попадает. Может быть, и он, став взрослым человеком, иногда вспоминает тебя, мальчишку, потому что теперь ты намного моложе его, а он намного старше. Но ты был его учителем. Ведь добро не лежит на дороге, его случайно не подберешь. Добру человек у человека учится.

Эх, что теперь говорить, словами не поможешь. Сколько людей война погубила! Если бы не война, каким красивым, душевным человеком жил бы на свете мой Джайнак!

Сын мой, обидно мне, из двенадцати цветов жизни ты не сорвал ни одного. Ты только начинал жить, и я даже не знаю, какую девушку ты любил...

Последняя свеча горит в душе моей, скоро она погаснет. Но я все помню, помню и тот злосчастный день, когда приехал за мной тот старик на пахоту.

Было это ранней весной. Подснежники еще не сходили, бороньба только начиналась. С Желтой равнины шел понизу теплый ветер, зябь просыхала, трава на солнце пошла зеленеть.

В тот день мы как раз только начали пахоту. Я ехала на коне шажком вслед за трактором, вдыхала земной дух борозды и подумывала про себя, что очень давно нет вестей от Суванкула и Касыма.

Тем временем приехал сюда старик наш один, вроде бы не по очень срочному делу. Я ему сказала:

— Кстати приехали, аксакал, благословите с добрым началом пахоты.

Он развернул ладони, сидя на коне, и, поглаживая бороду, прошептал:

— Пусть покровитель хлеборобов Дыйкан-баба побудет здесь, пусть урожай будет, как половодье. — А потом сказал мне: — Тебя, Толгонай, вызывает начальник какой-то из района. Приказал, чтобы ты явилась в контору. Я за тобой приехал.

— Хорошо, сейчас поедем, аксакал.

Подъехала я к плугарям, предупредила, что к вечеру приеду проверить работу, и мы направились к аилу. В том, что меня вызвал уполномоченный, ничего удивительного не было. Обычное дело, особенно с началом посевной много их разных наезжает в аил. Ехали не торопясь, разговаривали о том, о сем, о житье-бытье нашем, и старик в разговоре как-то осторожно вставил:

— Спасибо тебе, Толгонай, что в такое лихолетье служишь ты на коне народу. Хотя и женщина ты, но всем нам голова. Так и держись, Толгонай, крепче держись в седле. Если что, мы все тебе опора, а ты нам. Конечно, и тебе нелегко, знаем. Судьба человеческая как горная тропа: то вверх, то вниз, то вдруг пропасть впереди. Одному, случается, не под силу, а всем миром одолеть можно... Так-то оно в жизни нашей суетной...

Мы ехали уже по улице, и я заметила возле нашего двора вроде бы толпу людей. Я увидела их головы за дувалом. Но почему-то не придавала этому значения. Старик вдруг взял за повод моего коня и сказал мне, не глядя в глаза:

— Слезай, Толгонай, ты должна спешиться.

Я удивленно уставилась на него. Только он сам слез с лошади и, беря меня под руку, повторил:

— Ты должна слезть с седла, Толгонай.

Все еще не соображая, в чем дело, но уже охваченная каким-то страшным предчувствием, уже мертвая, я медленно спешила и увидела Алиман, идущую к дому вместе с тремя женщинами. Они в тот день работали на очистке арыков. Алиман несла кетмень на плече. Одна из женщин взяла ее кетмень с плеча. И тут я все разом поняла.

— Что вы? Что вы надумали? — закричала я на всю улицу.

Когда я закричала, из двора соседки Айши выбежали женщины. Молча, быстро подошли ко мне, схватили за руки и сказали:

— Крепись, Толгонай, лишились мы наших соколов, погибли Суванкул и Касым.

Я услышала в ту минуту, как вскрикнула Алиман, как заголосили все разом:

— Боорумой — братья наши! Боорумой!

И больше уже ничего не слышала, оглохла сразу. Оглохла, наверно, от своего крика. И закачалась улица, чудилось мне, деревья падают, дома падают. В жуткой тишине мелькали перед глазами то облака в небе, то какие-то искаженные немые лица. Я вырывалась, силилась освободить зажатые в чьих-то руках свои руки. Я не понимала, кто меня держит, что за толпа у ворот. Я видела только Алиман. Видела ее с беспощадной ясностью. Она была страшна, с изодранным в кровь лицом, с разлохмаченными волосами, в изорванном платье. Ее удерживали женщины, закрутив

руки за спину, а она вырывалась изо всех сил ко мне и кричала так сильно, что я ничего не слышала. Я тоже рвалась к ней. У меня было только одно желание — быстрее прийти к ней на помощь. Но прошла, казалось, целая вечность, пока мы наконец сошлись. И только тогда, когда Алиман бросилась ко мне на шею, я наконец услышала ее надсадный, хриплый крик:

— Мама, вдовы мы, мама! Несчастные вдовы! Погасло наше солнце. Черный день! Мама! Черный день!

Да, мы были вдовами. Две вдовы — свекровь и невестка, мы оплакивали свою судьбу, обнимаясь и обливая друг друга горячими слезами.

Но нам с Алиман не пришлось вволю поголосить. На седьмой день пришли колхозники, чтобы еще раз почтить память погибших, и сказали нам:

— Год круглый траур держать и то было бы мало. Мы будем их помнить, но живой человек должен жить. То, что они недожили, пусть доживут Маселбек и Джайнак. (От Джайнака мы тогда еще почти каждую неделю получали письма.) Пусть они вернуться с победой. А вам мы разрешаем выходить на работу. Время сейчас посевное, земля не ждет. Зажмите сердца в кулак. Будьте с нами. И пусть это будет нашей мстостью врагу.

Посоветовались мы с Алиман и согласились с народом.

Утром, когда мы собирались на работу, председатель Усенбай принес две бумажки. Это, говорит, похоронные, сберегите их. Похоронная Касыма прибыла в колхоз, оказывается, еще полмесяца тому назад. Он погиб в наступлении под Москвой, в деревне Ореховка. Пока собирались сообщить об этом, подоспела и похоронная Суванкула. Он тоже погиб в большом наступлении под Ельцом. Односельчанам нашим ничего не оставалось, как сказать правду. И пришлось им сделать это в один и тот же день. Ну, а дальше рассказывать нечего. Снова крепко подпоясалась я и снова села на бригадирского коня.

Ведь если бы я стала сетовать, судьбу проклинать, руки опустила, то что было бы с Алиман? Она так убивалась, что мне страшно становилось. Горя у меня было не меньше, я потеряла сразу мужа и сына, утрата была двойная, и все-таки положение мое было иное. Мало ли, много ли, мы с Суванкулом прожили большую жизнь. Всякое видели, всякое испытали — и трудно жили и счастливо. Детей имели, семью имели, вместе трудились. И если бы не война, вместе были бы до конца дней. А много ли познали Алиман и Касым? Жизнь для них вся была в будущем, вся в мечтах. В самую пору молодости срубила их война топором. Конечно, со временем затянулись бы раны в душе Алиман. Свет не без людей, нашла бы, может быть, человека, которого и полюбила бы даже. И жизнь вернулась бы с новыми надеждами. Другие солдаты так и поступили. Кончилась война, они вышли замуж. Кто удачно, кто не совсем удачно, но

они не остались одинокими, все они теперь матери, жены. Многие из них нашли свое счастье. Но не все люди одинаковы. Есть такие, что быстро забывают о горе, быстро переступают на новую дорогу, другие мучительно, отчаянно топчутся на месте, не находя в себе сил уйти по памяти прошлого. Вот и Алиман, на беду свою, оказалась такой. Не сумела она забыть былое, не смогла примириться с судьбой. Здесь есть и моя непростительная вина. Слаба я оказалась, не осилила жалость свою...

Весной бригада наша копала головные арыки. Я тоже была там. Однажды закончили мы работу рано, до захода солнца, и народ стал расходиться по домам. Мне надо было еще завернуть к плугарям, и я сказала Алиман, чтобы она не ждала меня. Шалаш плугарей был неподалеку. Они как раз ужинали. Я потолковала с ними о делах и, выйдя из шалаша, собиралась было сесть на коня, как увидела Алиман. Она, оказывается, не ушла. Осталась одна и ходила по перелогу, собирала тюльпаны. Ведь она, как девчонка какая, любила цветы. Эх, Алиман, Алиман, горемычная моя невестушка. В руках у нее было штук десять больших тюльпанов. Она их собиралась, наверно, домой понести. Я как увидела ее с цветами, пот горячий проступил на лбу. Вспомнила, как она тогда на обкосе загона набрала дикой мальвы и тоже стояла с цветами вот так же. Только тогда косынка на ней была красная, а цветы белые, а теперь она была повязана черным платком и в руках держала красные цветы. Вот и вся разница. Но как это резануло по сердцу! А Алиман подняла голову, огляделась по сторонам, потом понурилась, уныло уставилась на цветы, вроде бы: кому их теперь и куда?.. И вдруг встрепенулась вся, упала лицом вниз и стала рвать свои цветы в клочья, хлестала ими землю, потом утихла, уткнулась в руки и лежала так, передергивая плечами. Я спряталась за шалаш. Не стала ее тревожить. Пусть, думаю, поплачет, может, легче ей станет. А она вскочила на ноги и помчалась по перелогу к большаку. Я перепугалась, на коня — и за ней. Страшно мне было видеть, как убегала моя невестка, как бежала она в черном платке по красному полю.

— Алиман! Остановись! Что с тобой? Остановись, Алиман! — кричала я ей, а она не останавливалась.

Добежала до дороги, по которой уходил когда-то саврасый иноходец, тут лишь я догнала ее.

— Мама! Не говори мне ничего. Мама, не говори мне ничего. Не надо!

Я натянула поводья, а она подбежала, схватилась за гриву коня, ткнулась к моей ноге и зарыдала. Я молчала. А что мне было ей говорить? Потом она подняла голову, а лицо все в глине, в слезах, и сказала всхлипывая:

— Посмотри, мама, как светит солнце. Посмотри, какое небо, а степь какая, в цветах! А Касым не вернется, да? Никогда не вернется?

— Нет, не вернется, — ответила я.

Алиман тяжело вздохнула.

— Прости меня, мама, — тихо сказала она. — Хотела добежать туда и умереть там вместе с ним.

И я не выдержала, заплакала, ничего не сказала. Но если бы я была мудрой, дальновидной матерью, я должна была ей твердо сказать: «Ты что, дитя маленькое? Не ты одна, сколько овдовело таких, как ты, — не сосчитать. Перетерпи. Как тебе ни дико это слышать — забудь Касыма. Что прошло, того не вернешь. Придет время — найдется человек по душе. Если не возьмешь себя в руки, тебе же будет хуже. Не смей так убивать себя. Ты еще молода и должна жить». И как я каюсь теперь, что не посмела сказать этой грубой, этой единственной правды. И потом сколько раз подходили удобные случаи, на языке стояли эти слова, я так и не решилась их высказать. Какая-то неодолимая сила удерживала меня. Да и сама Алиман не хотела меня выслушать. Есть, оказывается, у каждого слова свое время, когда оно ковкое, как раскаленное железо, а если упустишь время — слово остывает, каменеет и лежит на душе тягостным грузом, от которого не так-то просто освободиться. Это я говорю теперь, когда прошло столько лет, а тогда в каждодневной суматохе, в каждодневных заботах и нехватках колхозных некогда было одуматься, сообразить толком что к чему. Все ожидания, все помыслы были только об одном — скорей бы победа, скорей бы конец войне, а все остальное потом. Думалось: кончится война — и все само собой станет на свое место. А оно, оказывается, не совсем так...

8

— Мать земля, почему не падают горы, почему не разливаются озера, когда погибают такие люди, как Суванкул и Касым? Оба они — отец и сын — были великими хлеборобами. Мир извечно держится на таких людях, они его кормят, поят, а в войну они его защищают, они первые становятся воинами. Если бы не война, сколько бы еще дел сделали Суванкул и Касым, сколько людей одарили они плодами своего труда, сколько еще полей засеяли бы, сколько еще зерна намолотили бы. И сами, сторицею вознагражденные трудами других, сколько бы еще радостей жизни увидели бы! Скажи мне, мать земля, скажи правду: могут ли люди жить без войны?

— Ты задала трудный вопрос, Толгонай. Были народы, бесследно исчезнувшие в войнах, были города, сожженные огнем и засыпанные песками, были века, когда я мечтала увидеть след человеческий. И всякий раз, когда люди затевали войны, я говорила им: «Остановитесь, не проливайте кровь!» Я и сейчас повторяю: «Эй, люди за

горами, за морями! Эй, люди, живущие на белом свете, что вам нужно — земли? Вот я — земля! Я для всех вас одинакова, вы все для меня равны. Не нужны мне ваши раздоры, мне нужна ваша дружба, ваш труд! Бросьте в борозду одно зерно — и я вам дам сто зерен. Воткните прутик — и я выращу вам чинару. Посадите сад — и я засыплю вас плодами. Разводите скот — и я буду травой. Стройте дома — и я буду стеной. Плодитесь, умножайтесь — я для всех вас буду прекрасным жилищем. Я бесконечна, я безгранична, я глубока и высока, меня для всех вас хватит сполна!» А ты, Толгонай, спрашиваешь, могут ли люди жить без войны. Это не от меня — от вас, от людей, зависит, от вашей воли и разума.

— Как подумаешь, земля родная, ведь самых лучших тружеников твоих, самых лучших мастеров убивает война. А я не согласна с этим, всей жизнью своей не согласна!

— А ты, Толгонай, думаешь, я не страдаю от войн? Нет, я очень страдаю. Я очень тоскую по крестьянским рукам, я вечно оплакиваю детей своих, хлеборобов, мне всегда не хватает Суванкула, Касыма, Джайнака и всех погибших солдат. Когда я остаюсь непаханой, когда нивы остаются несжатыми, а хлеба необмолоченными, я зову их: «Где вы, мои пахари, где вы, мои сеятели? Встаньте, дети мои, хлеборобы, придите, помогите мне, задыхаюсь я, умираю!» И если бы тогда пришел Суванкул с кетменем в руках, если бы Касым привел свой комбайн, если бы Джайнак пригнал свою бричку! Но они не откликаются...

— Спасибо тебе, земля, на том. Значит, ты так же тоскуешь о них, как и я, так же оплакиваешь их, как и я. Спасибо тебе, земля.

9

Третий и четвертый годы войны и радовали и омрачали: врага изгоняли шаг за шагом — душа ликовала, но что ни день, все трудней и трудней становилась жизнь. Осенью еще куда ни шло, колоски собирали по жнивью, картошку копали в огородах, а с середины зимы начинался голод. Особенно весной да в желтые летние дни туго приходилось, иные едва-едва пробивались дикими кореньями, травой да чуть забеленной молоком водичкой. Мы с Алиман обе работали, и за подол нам детишки не цеплялись. Но лучше бы они цеплялись. Невыносимо становилось на душе, когда у других, у многодетных, детишки с раздутыми животами и опухшими лицами глядели в руки, безмолвно прося хлеба. Если бы мне сказали: «Иди и ты на фронт, умри там — и война кончится, дети будут сытыми», — я не задумалась бы. Только бы не видеть их голодных глаз. Как-то я поделилась этими мыслями с Алиман, она посмотрела на меня

и потом сказала:

— Я бы тоже так поступила. Ведь самое страшное то, что дети не понимают, почему они должны голодать. Взрослые-то хоть утешают себя, знают причины, знают, что будет этому когда-нибудь конец. А дети не понимают. Пока не вернутся их отцы, мы должны хлеб добывать им. Нам с тобой, мама, только это и осталось. А то ведь и жить не стоит...

Все безраздельно принадлежало только войне: и жизнь, и труд, и воля, и даже детская кашка — все, все до единой крупички уходило в ненастную утробу войны. Однако были и такие, что не хотели делиться с войной ничем; да зачем скрывать, были такие люди. Они тоже урывали от нашего куска.

Как-то я заблудилась. Это произошло в сорок третьем году, кажется, в середине зимы, или нет, к концу зимы дело было. В степи уже темнели прогалины голой земли, но окна еще замерзали по ночам.

Кто его знает, в какой час ночи — все давно спали, — только вдруг заколотил кто-то в окно, думала, стекла полетят.

— Толгонай! Бригадир! Вставай! Проснись! — кричал кто-то с улицы.

Мы перепугались, и обе, я и Алиман, вскочили с постелей.

— Мама! — прошептала Алиман в темноте, и так тревожно, словно ждала какого-то чуда.

Эх, проклятая, никогда не покидающая надежда! У меня тоже сердце зашло от страха и смутной радости: «Может, вернулся кто из наших?» — и я приникла к окну.

— Кто тут? Кто ты?

— Выходи, Толгонай! Быстрее! Лошадей увели! — ответил голос за окном.

Пока Алиман зажигала лампу, я быстро натянула сапоги, надела чапан и выскочила на улицу. Прибежали на конюшню, там были уже люди и сам председатель. Оказалось, что воры трех лошадей увели, в том числе и нашего саврасого иноходца — я его в колхоз передала. Это были лучшие меринки нашей бригады, мы их готовили к пахоте. Конюх говорил, что пошел на сеновал задать лошадям полночное сено, вернулся, а в конюшне темно, фонарь не горит. Решил, что ветер задул, потому не спеша зажег свет, глянул — с краю три стойла свободные.

В то время для колхоза потерять три рабочие лошади — все равно что сейчас десять тракторов потерять. А если подумать поглубже, то это все равно что у каждого солдата на фронте отнять по куску хлеба. Мы оседлали лошадей, некоторые прихватили ружья, и все кинулись в погоню. И если бы догнали воров, то не пожалели бы. Честное слово, не пожалели бы!

За аилом мы разделились на кучки по несколько человек и поехали в разные

стороны. У меня под седлом был племенной жеребец, горячий, поджимистый, в побезку просился. Я дала ему повод. Помню, перемахнула через большак и направилась в сторону гор. За мной скакали еще двое наших. Вдруг оглянулась — нет их. То ли они свернули в сторону, то ли я свернула. Ошибиться было не мудрено: луна хоть и просвечивала, но свет ее был обманчив — шагах в двадцати все сливалось в темную мглу. Но не об этом думала я тогда: только бы догнать конокрадов; так досадно и обидно было, что не замечала, куда уносит меня конь, и когда он внезапно остановился, смотрю — впереди глубокий овраг. Под самыми горами очутилась. Луна осторожно шла над темным хребтом, звезды туманились. Вокруг ни огонька. Понизу скользил порывистый ветерок, шевелил сухостойные кураи, тонко посвистывал. На развалинах старой глинобитной гробницы перекликались совы.

Я спустилась на коне в овраг. Ничего не слышно. Только испугнула лисицу. Она выскочила из камыша и понеслась, сизо-голубая в лунном свете. Больше никого не видать кругом.

Я повернула в аил. Ехала над обрывом и вспоминала: поговаривают, что Дженшенкул — был у нас такой в аиле — сбежал из армии, что с ним двое таких же, как сам он, дружков откуда-то с Желтой равнины и что прячутся они в горах. Я не очень-то верила этим слухам. Не понимала я, как можно прятать свою голову, когда все в опасности. Выходит, что кто-то должен идти сражаться, погибать, а кто-то может отсиживаться за его спиной? Нет, вряд ли кто пойдет на такое бесстыдство, думала я. А тут вдруг усомнилась. В аиле мы все знаем друг друга, как пять своих пальцев. Вроде не было людей, которые могли бы пойти на конокрадство. Да и конь не иголка, в воротнике его не припрячешь. Тем более сразу трех лошадей. Значит, воры пришли откуда-то. Должно быть, сейчас, как волки, рыскают в горах и в степи. Если правда, что Дженшенкул в бегах, то, пожалуй, это дело его рук, думалось мне. Однако уверенности в этом не было: как-никак не пойман — не вор, а видеть никто не видел.

Три лошади — упряжка одного двухлемешного плуга. Упряжь эту мы восстановили с горем пополам, объездили молодняк, четверку, запрягли в плуг. Жаль, но ничего не поделаешь. А тут нагрянула посевная, и началось такое, что не до воров было и не до самого бога. Это была, пожалуй, самая тяжелая весна в моей жизни. Народ что — народ не виноват. Люди хотели работать и старались, но с пустым желудком не очень-то наработаешь. Того, что прежде за день делали, теперь на неделю хватало. Запаздывали работы, затягивалась посевная. А тут еще беда — семян в колхозе нет. Уж мы до зернышка вымели, выскребли закрома, кое-как свели концы с концами, но план бригады все же выполнили.

В эти дни я крепко призадумалась над нашей жизнью. На трудодни мы ничего не

получали, что было из прежних запасов, давно съели. Как быть? По миру расходиться, разбрестись куда глаза глядят? Нет, это значит потерять себя. Ну что же дальше? Хорошо, дотянем до осени, перебьемся зиму, а там опять же весна и опять же придется заставлять работать полуголодных, ослабевших людей. И не работать нельзя.

По-всякому думала я, ночей не спала, и осенила меня мысль такая: распахать залежь — была у нас небольшая на отшибе, — с тем чтобы урожай поделить по семьям. Посоветовалась с председателем, до района дошла, объяснила, что план мы свой выполнили, а это сверх плана, своими силами, специально для себя на трудодни, поддержать чтобы народ. Кто-то мне из-за стола бросил:

— Ты сталинский устав колхоза нарушаешь!

Я не утерпела:

— А пусть он провалится, этот устав! Если мы будем голодными, кто вас будет кормить?

— А ты, — говорит, — знаешь, куда Макар телят не гонял?

— Знаю. Отправляйте, если от этого легче станет. Только подумайте сначала, кто будет хлеб сеять для солдат на фронте.

Зашумели, в райком толкнулись. В общем разрешили, сказали: под личную ответственность. А дело-то было не в ответственности, а в семенах. В колхозе — хоть шаром покати, что было, все высеяли. Помозговала я и собрала свою бригаду, всех от мала до велика. Не то что собрание, а так, вроде семейный совет устроили.

— Давайте подумаем, как быть нам, — сказала я. — На то, что посеяно на полях, не надо надеяться. Сами знаете, там все для фронта, а если что останется — на семена. Но у нас, если найдем семена, есть возможность посеять хлеб для помощи многодетным, старикам и сиротам. Если верите мне, я беру на себя эту ответственность. Дело сейчас стоит за тем, чтобы каждый из нас отдал на семена золотые крупницы, то, что еще приберегаем мы на дне мешочков и сусеков. Не гневайтесь на меня, пусть мы оторвем кусок от своего рта, пусть мы будем голодать — дотянем как-нибудь на молоке до жатвы, но зато каждое зернышко вернется нам сторицей. Поднатужьтесь, родные, стисните зубы, отважьтесь на такой подвиг ради себя, ради детей своих. Не пожалеете. Поверьте моему материнскому слову. Помогите мне, пока есть еще время посеять...

На сходке вроде бы все поддержали меня. Но когда коснулись дела, пришлось туго, просто страшно. Особенно страшно было мне, когда выбегали из дворов многодетные матери, когда они проклинали все на свете: и войну, и жизнь такую, и детей, и колхоз, и меня. И все же люди с кровью отрывали от сердца, давали каждый

сколько мог и что мог: кто полпуда, а кто пригоршню. Понимала я, что люди отдавали свое последнее, и все же я брала. Собирала все, высыпала в мешки по горсточке. И так обходила я с бричкой двор за двором, умоляла, просила, ругалась, выхватывала из рук. И только одно утешение было, что осенью люди поблагодарят меня, что осенью каждая горсточка вернется пудом.

Никогда не забыть мне, как я обошлась с соседкой своей, Айшой. Она ведь болезненная была. Рано овдовела, муж ее, Жаманбай, умер еще до войны. И осталась она одна, хворающая, с единственным сыном — Бекташем. Если не болела, работала в колхозе, у себя на огороде, коровенку имела — тем и кормилась и растила сына. Бекташ в ту пору был уже работником, надежный вырос парнишка. В тот день как раз на его бричке и ездили мы по дворам. Когда поравнялись с их двором, я спросила его:

— Бекташ, есть у вас дома что-нибудь?

— Есть немного, — ответил, помедлив, парнишка. — В торбочке, за печкой.

— Ну, так иди принеси, — сказала я.

— Нет, тетушка Толгонай, сами пойдите, — попросил он.

Айше нездоровилось в те дни. Она сидела на кошме, укутав поясницу теплым платком.

— Айша, я пришла получить то, что все дают, — сказала я.

— Все, что у нас есть, вон там, — показала она на торбу за печкой.

— Сколько есть. Не для утешения отдаешь. Для семян. Поле готово, сева ждет, не задерживай, Айша, — поторопила я.

А она прикусила губу и молча опустила голову. Ох, нужда проклятая, до чего доводит людей.

— Айша, подумай: ну, десять, пятнадцать дней тебе легче было бы перебиваться. Но подумай и о будущей зиме, о весне подумай. Ради сына твоего прошу, Айша. Он ждет на улице с бричкой.

Она подняла глаза и с мольбой посмотрела на меня.

— Если бы было что, думаешь, жалко? Ты же знаешь, Толгонай, соседка ведь я твоя...

Я почувствовала, что не устоять мне перед ее мольбой, но тут же отбросила в сторону жалость.

— Я сейчас тебе не соседка, а бригадир! — отрезала я. — От имени народа забираю у тебя это зерно! — Встала и взяла в руки торбу.

Айша отвернулась.

В торбе было килограммов семь пшеницы. Я хотела унести все, но не посмела. И отсыпала половину зерна в порожнее ведро. И сказала ей:

— Смотри, Айша, я половину беру. Не обижайся.

Она обернулась. И я увидела слезы, стекавшие по ее лицу к подбородку. Мне стало не по себе. Я опрометью кинулась из дома. Ах, почему я не поставила торбу на место? Но откуда же мне было знать, что случится с собранными мною семенами?

Зерна набралось два больших мешка. Мы его пропустили через решето, провеяли, очистили от сорняков, по зернышку перебирали. И я сама свезла семена к пашне. Повременить бы мне в тот день. Но ведь оставалось еще допахать край загона. А мне не терпелось быстрее засеять это поле. С рассветом сама собралась сеять вручную. Все было готово — семена, пашня, все получалось так, как задумала.

Вечером вернулась я с работы домой, и что-то беспокойно стало на душе, места себе не находила. Днем я велела Бекташу и еще одному пареньку отвезти на бричке бороны к полю. Дети, как ни говори, это дети. Не совсем уверена была я, выполнили ли они мое поручение. И я сказала Алиман:

— Съезжу-ка я к ребятам. Погляжу, что они делают.

Села на коня и поехала.

За аилом пошла рысью: сумерки сгущались, темнеть начинало уже. Подъезжаю к месту, смотрю — быки стоят на пашне в ярме. И рядом никого нет. Зло взяло на мальчишку-плугаря: до сир пор тягло не распряжено, томится в ярме. Ну, думаю, подожди у меня, парень, я тебе дам нагоняй. Двинулась я разыскивать его, смотрю — бричка с боронами опрокинута набок. И тут тоже никого нет.

— Эй, ребята! Где вы? Откликнитесь! — позвала я.

Никто не отозвался, ни души вокруг. Да что с ними? Куда они запропалились? Перепугалась я. Поскакала к шалашу, спрыгнула с лошади. Засветила спичку. Ребята лежали в шалаше связанные, избитые в кровь, ободранные, во ртах тряпье какое-то набито. Я вырвала кляп изо рта Бекташа.

— Семена? Где семена? — вскричала я несвоим голосом.

— Забрали! Избили! — прохрипел он и мотнул головой в ту сторону, куда исчезли воры.

А дальше не помню, что было. Сроду не гнала я так коня, как в ту ночь. Что там ночь — тьма могильная была нипочем. Если бы дом мой сожгли и разграбили, ничего не сказала бы. Если бы осенью с гумна похитили десять мешков хлеба — стерпела бы: мыши тоже утаскивают. Но за эти семена, за этот хлеб наш будущий — да я придушила бы своими руками.

Оказывается, я гналась по следам воров и вскоре увидела их. Искры заметила из-под копыт. Мешки воры везли перед собой на седлах. Уходили в сторону гор.

Увидев их, я стала кричать, просить:

— Оставьте мешки, это семена! Оставьте, это семена! Семена это!

Они не оборачивались. Расстояние между ними быстро сокращалось, и я увидела, что один из них, тот, что с краю, ехал на иноходце. Я сразу узнала его. Как было не узнать саврасого иноходца? По побежке узнала, по белым чулкам на задних ногах. И тогда я крикнула:

— Стой, я знаю тебя! Ты Дженшенкул! Ты Дженшенкул! Теперь ты не уйдешь от меня! Стой!

Он и в самом деле оказался Дженшенкулом. Отделившись от других, он повернул ко мне навстречу. Огонь вспыхнул во тьме, что-то прогрехотало. И, уже падая с коня, я поняла, что это был выстрел. А сначала я подумала, что просто споткнулась лошадь.

Придя в себя, я почувствовала тупую, тяжелую, ломившую спину боль. Из головы сочилась кровь, она затекала к затылку холодным студнем. Рядом со мной хрипела, издыхая, лошадь, она еще сучила ногами, пытаюсь встать. Клопочущий предсмертный вздох вырвался из ее груди, голова глухо стукнулась о землю, и лошадь утихла. И все вокруг утихло — утихла вся жизнь. Я лежала не шелохнувшись, не пытаюсь даже встать. Все теперь было для меня безразлично. И жизнь не имела смысла. Я думала о том, как убить себя. Была бы поблизости круча, поползла бы и бросилась вниз головой. Я не представляла себе, как, какими глазами теперь буду глядеть на людей. И тут я увидела в небе Дорогу Соломщика. Тусклая, туманная река Млечного Пути напомнила мне мутные слезы, стекавшие по лицу Айши. И я встала на колени, потом на ноги, пошатнулась, снова упала и, рыдая от горя и обиды, стала выкрикивать проклятья:

— Чтоб тебя кровь войны прокляла, Дженшенкул! Убитые пусть проклянут тебя, Дженшенкул! Дети пусть проклянут тебя, Дженшенкул!

Я плакала и кричала, пока не обессилела.

Долго лежала я. Потом слышались чьи-то шаги, и кто-то позвал меня:

— Тетушка Толгонай! Где вы? Тетушка Толгонай!

По голосу узнала Бекташа и отозвалась. Бекташ прибежал запыхавшись, упал на колени, приподнял мою голову:

— Тетушка Толгонай, что с вами, вы ранены?

— Нет, расшиблась, — успокоила я его. — Лошадь вот убило пулей.

— Ну это не так страшно, мы вам сейчас поможем! — обрадовался Бекташ. И добавил: — А мясо не пропадет. Раздадим по дворам.

Ребята привезли меня домой на бричке. Дня три провалялась в постели, спину не отпускало. И сейчас, когда непогодит, ломит порой. В те дни многие приходили наведать меня, справиться о здоровье. Спасибо за это людям, но больше всего

спасибо за то, что никто не укорил меня, никто не напомнил, будто ничего не случилось. Может быть, люди догадывались, что мне и так было тяжело. Как вспомню, что труды наши пропали даром, что пашня осталась незасеянной, а зерно, которое я оторвала от плачущих детей, стало добычей этих подлых бандитов, — такая горечь жгла душу, что в глазах меркло.

10

— Да, Толгонай, не только ты, но и я, земля, чувствовала эту боль. То пустое поле саднило все лето, как зияющая рана. Долго не утихала боль. Самые страшные раны наносятся мне тогда, когда поля остаются незасеянными, Толгонай. А сколько полей осталось бесплодными из-за войны! Самый смертельный враг мой тот, кто начинает войну.

— Ты права, мать земля. Не об этом ли писал мой сын Маселбек? Ты помнишь, земля, письмо Маселбека?

— Помню, Толгонай.

— Да, мы с тобой помним. Сегодня день поминовения, мать земля. Сегодня мы снова все вспомним.

— Вспомним, Толгонай. Ведь Маселбек был не только твоим сыном, он и мой сын — сын земли. Повтори мне его письмо, Толгонай.

11

Когда приходили люди проведать о моем здоровье, я думала, что они из сочувствия ко мне старались как-то умолчать о случившемся и поэтому говорили большей частью о новостях, о работе, о погоде; но была, оказывается, еще одна причина. Я потом догадалась об этом. А они-то знали, что меня ждет.

Как-то заглянула к нам Айша, принесла мне чашку сметаны. Когда она переступила порог, мне стало очень стыдно. Я не знала, что говорить, молчала, сидя на постели. А она сказала мне:

— Ты не думай, Толгонай, о том, что было. И прости мою слабость. А я обиды не держу. За тебя, если надо, и жизнь отдать мне не жалко. Бекташ мой теперь у нас помощник на два двора. Он тебя, Толгонай, больше даже любит, чем меня. А я рада этому. Значит, вырастет он понятливым человеком...

Я только промолвила:

— Спасибо на слове, Айша.

Утром другого дня мне было уже легче, и я вышла во двор кое-что по хозяйству присмотреть. Но быстро утомилась и села возле окна, на солнышке посидеть. Алиман тоже была дома. Она стирала белье во дворе. Я ей говорила, чтобы она выходила на работу, но она ответила, что сам председатель предложил ей остаться на денек дома, чтобы я не была одна.

В ту весну большая старая яблоня — ее еще сам Суванкул сажал — так густо зацвела, словно заново набралась сил и помолодела. А когда сады цветут, воздух чист, все дали открываются. Сидела я так, любовалась всем вокруг, а тем временем почтальон наш старик Темирчал пожаловал. Здравствуй, мол, Толгонай, как поживаешь? А сам, против обыкновения, что-то очень заторопился, что-то очень ему не по себе было, кашлял надсадно и жаловался на кашель; на прошлой неделе, говорит, простыл, замучился совсем; а потом, как бы между прочим, говорит:

— Кажется, тебе письмо есть какое-то. — И достает его из сумки.

Я даже обиделась на такое равнодушие:

— Да что же ты сразу не сказал? От кого?

— Да вроде от Маселбека, — пробормотал он.

От радости я сначала не обратила внимания на то, что письмо это было не такое, как всегда, треугольником, а в твердом белом конверте с печатными буквами. Тут пришел на костылях фронтовик Бектурсун, сосед наш. Я подумала, что у него с раненой ногой хуже стало — еле притащился. Он иногда приходил к нам посидеть, поговорить. Бектурсун поздоровался, взял конверт. От Маселбека, говорит.

— А что у тебя руки дрожат? Да ты не стой на костылях, садись, прочти мне, — попросила я.

Он с трудом сел на кошму: нога у него не подгибалась. Дрожащими пальцами вскрыл конверт и начал читать. Эх, сынок мой, ведь я с первых слов все поняла.

«Понимаешь, мама, — писал он, — пройдет время, и ты поймешь меня, убедишься, что я сделал правильно. Да, ты обязательно скажешь, что сын твой поступил честно. И все-таки, хотя ты и поймешь, где-то в глубине твоего сердца останутся невысказанные мне слова: „Как же ты мог, сынок, так просто уйти из этого светлого мира? Зачем я тебя родила, зачем растила?“ Да, мама, ты мать и вправе спросить с меня, но на твои вопросы ответит потом история. А я сейчас могу лишь сказать, что мы не выпросили себе войну и не мы ее затеяли, это огромная беда всех нас, всех людей. И мы должны проливать свою кровь, отдавать свои жизни, чтобы сокрушить, чтобы уничтожить это чудовище. Если мы этого не сделаем, то не достойны будем имени Человека. Я никогда не жаждал совершать геройства на войне. Я готовил себя к самой скромной профессии — я хотел быть учителем. Я очень хотел им быть.

Но вместо мела и указки мне пришлось взять в руки оружие и стать солдатом. Не моя в этом вина. Время мое оказалось такое. Я не успел дать детям ни одного урока.

Через час я иду выполнять задание Родины. Вряд ли я вернусь живым. Я иду туда, чтобы сохранить в наступлении жизнь многим своим товарищам. Я иду ради народа, ради победы, ради всего прекрасного, что есть в человеке.

Это мое последнее письмо, это мои последние слова. Мама! Да, тысячу раз я буду повторять твое материнское имя и все-таки останусь перед тобой в неоплатном долгу. Прости меня, мама, за горе, которое я приношу тебе. Но ты пойми, мама, это не безрассудная жертвенность, нет. Так учила меня жить сама жизнь. И это мой первый и последний урок детям, которых я должен был учить. Я иду по своей воле и убеждению. Я горжусь, что выполняю свой самый высокий долг перед людьми.

Не плачь, мама, пусть никто не плачет. В таких случаях никто не должен плакать.

Прости, мама, и прощай.

Прощайте, горы мои — Ала-Тоо! Как я любил вас! Твой сын — учитель, лейтенант Маселбек Суванкулов.

Фронт, 9 марта 1943 г. 12 часов ночи».

Как во сне я подняла тяжелую голову. Во дворе безмолвной толпой стояли люди. Никто не плакал. Маселбек просил, чтобы никто не плакал. Женщины подняли меня под руки. И когда я встала, то ветер набежал на яблоню и посыпались тучей белые лепестки цветов. Они бесшумно падали нам на головы. За белой нашей яблоней, за белыми вершинами далеких гор синело бесконечно чистое и бездонное небо. А во мне, в душе моей, поднимался крик. Мне хотелось кричать на весь белый свет. Но я молчала. Я выполняла последнюю волю моего сына, он просил, чтобы я не плакала. Я не знаю, что делала Алиман. Я увидела, как она медленно шла ко мне с вытянутыми руками. Она подошла совсем близко, посмотрела мне в глаза, отвернулась и пошла, закрыв лицо ладонями.

Вот так я лишилась и своего среднего сына. Осталась мне шапка его.

12

— А мне осталось имя его, Толгонай. Я его родина. Народу остались слова его, Толгонай. Они его земляки.

— Да, мать земля, все это так. И колхоз наш называется его именем. Письмо Маселбека прислали в сельсовет его однополчане вместе со своим письмом. Они писали, что никогда не забудут своего товарища, будут гордиться его подвигом и что Родина будет всегда чтить его память. Они писали, что Маселбек перед большим

наступлением наших войск взорвал вражеский склад боеприпасов, от взрыва этого смело все живое вокруг. Я склоняю голову перед героями и перед сыном своим Маселбеком, славой которого горжусь. Но ничто, никакая слава не может мне возместить его живого. Пусть спросят любую мать, никакая мать не мечтает о такой славе. Матери рожают детей для жизни, для простого, земного счастья...

— Ты права, Толгонай. Я всегда помню ту весну, когда пришла победа, я всегда помню тот день, когда вы, люди, встречали солдат с фронта, но я до сих пор не могу сказать, Толгонай, чего было больше — радости или горя.

13

В тот день нам пришел черед пахать свой огород колхозным плугом. Мы заканчивали пахоту, когда вдруг на улице послышалась какая-то беготня и шум. Алиман побежала узнать, в чем дело, и вернулась мигом.

— Мама, собирайся быстрее, — заторопила она меня. — Народ идет солдат встречать.

Плуг, быки в ярме так и остались на пашне. Действительно, весь аил — конные, пешие, сгорбленные старики и старухи, дети, раненые на костылях — все куда-то бежали. На бегу передавали, что какой-то проезжий (зареченский как будто) сказал кому-то, что солдаты возвращаются по домам, что на станцию прибыли два эшелона, там ребята со всех аилов и что они уже в дороге и с часу на час должны подоспеть. Никто не спрашивал, правда ли это. Люди хотели этой правды, люди мечтали об этом долгожданном дне, поэтому ни у кого не было никаких сомнений.

Мы сбежались на окраину аила, туда, где закладывалась до войны новая улица. Конные не слезали с седел, пешие поднялись на пригорок у арыка, мальчишки забрались на развалины недостроенных стен, а иные вскарабкались на деревья. И все ждали и смотрели на дорогу. Одни, нетерпеливо перебивая друг друга, рассказывали о добрых снах, виденных накануне, другие собрали по пригоршне камешков, стали гадать на них. И во всем этом: и в снах, и в гаданиях, и в других предчувствиях и приметах — видели люди хорошие, желанные предзнаменования. Вспоминаю я теперь и думаю, что если бы люди во всем мире всегда так ждали, охваченные одним чувством, всегда так любили своих сыновей, братьев, отцов и мужей, как мы их ждали и любили, то на земле, может быть, не было бы войны.

Когда разговоры в толпе утихали, каждый молча думал о своем, опустив голову. Люди ждали решения судьбы. Каждый спрашивал себя: кто вернется, а кто нет? Кто дождется, а кто нет? От этого зависела жизнь и дальнейшая судьба.

Вот в такую минуту один мальчишка вдруг крикнул с дерева: «Идут!» И все замерли, натянулись, как струны комуза, а потом все разом глухо повторили: «Идут!» — и снова замолчали в ожидании, снова стало тихо. Очень тихо. Но затем, словно опомнившись, все зашумели: «Где? Где идут? Где?» — и снова замолчали. Впереди на большаке показалась бричка. Она резво катила по дороге, остановилась на развилке, где отходит проселок к нашему аилу, и с брички соскочил солдат. Он взял свою шинель, вещевой мешок, распрощался с возницей и зашагал в нашу сторону. В толпе никто не проронил ни слова, все молча и удивленно смотрели на дорогу, по которой шел всего лишь один солдат с шинелью и вещевым мешком, перекинутым через плечо. Он приближался, но никто из нас не двинулся с места. На лицах людей застыло недоумение. Мы все еще ждали какого-то чуда. Мы не верили своим глазам, потому что мы ожидали не одного, а многих.

Солдат подходил все ближе и ближе, потом остановился в нерешительности

— тоже оробел, увидев на окраине аила безмолвную толпу людей. Он, наверно, подумал, что это за люди, почему они молчат, почему они стоят как вкопанные? Может быть, они кого-то ждут? Солдат раза два оглянулся на дорогу, но, кроме него, на ней не было ни души. Он снова зашагал к нам, и снова остановился, и снова оглянулся назад. Босоногая девчонка, что стояла впереди нас, неожиданно выкрикнула:

— Это мой брат! Аширалы! Аширалы! — И, сорвав с головы косынку, кинулась к нему со всех ног.

Бог ее знает, как она его узнала, только крик ее, как выстрел, вывел нас из оцепенения. За ней побежали мальчишки, девушки.

— Да ведь это он, Аширалы! Это он! — зашумели голоса, и тогда все, старые и малые, все мы хлынули толпой к солдату.

Какая-то могучая сила подхватила всех нас и понесла, как на крыльях. Когда мы бежали к солдату, раскрыв объятия, то мы несли вместе с собой всю свою жизнь, все пережитое и выстраданное, наши муки ожидания и наши бессонные ночи, наши поседевшие волосы, наших постаревших девушек, наших вдов и сирот, наши слезы и стоны, наше мужество несли мы солдату-победителю. И он вдруг, поняв, что это встречают его, тоже побежал нам навстречу.

И когда мы бежали всей толпой, мне почудилось, что мимо проносится с грохотом эшелон; ветер бьет в лицо, я слышу крик: «Мама-а! Алима-ан!» — и в ушах стучат, стучат колеса.

Конные первыми доскакали до солдата, на лету подхватили его шинель и вещевой мешок, а самого взяли за руки с двух сторон.

О, Победа! Мы так долго ждали тебя. Здравствуй, Победа! Здравствуй! Прости наши слезы! Прости мою невестку Алиман за то, что она билась головой на груди Аширалы и спрашивала его, трясая за плечи: «Где? Где мой Касым?» Прости всех нас, Победа. Столько жертв мы принесли ради тебя. Прости за наши крики: «Где остальные? Где мой? Где мой? Где же все другие? Когда вернутся все?» Прости солдат! Аширалы за то, что он отвечал всем нам: «Вернутся родные мои, все вернутся. Скоро вернутся, завтра вернутся». Прости нас, Победа, прости. Обнимая и целуя Аширалы, я думала в ту минуту о Джайнаке, о Маселбеке, о Касыме, о Суванкуле: из них никто не вернулся. Прости меня, Победа...

Мы шли молча. Алиман все еще изредка и неожиданно всхлипывала, тяжело, шумно вздыхала, словно ей не хватало воздуха. Лицо ее было сумрачно, она смотрела только под ноги себе и, понурив голову, о чем-то напряженно думала. Я догадывалась: мрачные мысли одолевают ее. Да, Алиман очень страдала. Я это видела по ее лицу, по ее тоскливым взглядам и прикушенной губе. Я знала, о чем она думала, и говорила ей про себя: «Ну что ж, невестушка, верно, придется нам расстаться. Теперь-то уж небось ты окончательно похоронила Касыма. А что ж делать? Не умирать же за умершим и не вечно тебе куковать вдовой. Все кончено. Ты уйдешь. Ничего не поделаешь — уйдешь, конечно. Ну что ж, я не в обиде. Не по воле своей и не по прихоти уходишь. Судьба такая. Эх, судьба, судьба... Знала бы ты, Алиман, как жалко мне разлучаться. Жили мы с тобой, как мать с дочерью. Будешь уходить, благословлю тебя, как дочь свою, буду молиться за твое счастье. Тебе еще жить, молода ты и красива, найдется кто-нибудь. Главное, чтобы человек хороший попался. А сможет ли он быть для тебя таким, как Касым? Кто его знает. И помочь тебе я ничем не могу. Одна лишь просьба: когда уйдешь, то вспоминай меня хоть изредка. Никого у меня нет теперь, кроме тебя. Ведь я остаюсь в доме совсем одна, одна в целом свете. Подумать страшно. И нет мне утешения на старости лет: не успела ты родить мне внука. Но для тебя это, может быть, к лучшему. И ты не смотри на меня. Не губить же тебе молодость свою из-за меня, старухи. Я свое отжила. А тебе жить. Когда надумаешь, тогда и скажешь. Ты свободна уйти в любой день. Уйдешь со спокойной совестью. А я буду всегда тебя помнить, любить и благодарить тебя...»

Так я шла, думала и готовилась сказать эти слова. И Алиман, оказывается, знала, что у меня на уме. Когда люди живут душа в душу, они понимают друг друга с полуслова, с полунамека. И все-таки она сказала не то, чего я ожидала.

Мы шли мимо заброшенной улицы. И я на беду свою глянула на бывшую стройку Алиман и Касыма: на дворе там все так же, как пять лет тому назад, серой громадной кучей лежали навезенные камни, а кирпичи давно превратились в груды обломков. С

тех пор как началась война, недостроенная улица совсем заглохла. Каждое лето усадьбы зарастали репьем и лебедой. Стены осели, пообвалились, и даже внутри домов росли колючки, выглядывали из пустых глазниц окон. До самой осени здесь бродили лишь телята на приколе да грустно куковали удода. Эти хохлатые птицы любят запустение кладбищ. Они и в тот час сидели на развалинах, как на могильниках, нежились тихой теплыню весны и вполголоса, уныло перекликались.

«Боже! — подивилась я пустоте. — Где же остались люди, что хотели здесь жить, иметь свой дым над очагом? И бедному Касыму моему не довелось построить здесь свой первый дом!» Пусто, горестно стало на душе. А Алиман, придерживая меня за руку, жалеючи, улыбнулась.

— Мама, — сказала она, — ну что ты так поникла? Или совсем уж разуверилась в жизни? Не надо, мама. Понимаю, тяжело. Но ты крепкая у меня. Ты у меня... — Она запнулась, собираясь что-то сказать, и, наверно, раздумав, виновато улыбнулась. — Ты у меня просто хорошая. Давай сядем здесь на бугорок, поговорим, мама.

«Ну вот сейчас скажет, скажет, что уйдет», — подумала я. Горячей волной нахлынула жалость к себе и к ней, и я ответила, стараясь унять задрожавший голос:

— Хорошо, сядем поговорим.

Мы присели на бугорок на краю дороги. Да, сели мы с ней так, вдвоем — свекровь и невестка, чтобы решить свою судьбу, как нам дальше быть.

Алиман потупилась и, вздохнув, заговорила:

— Ну вот, мама, война проклятая кончилась. И ты теперь думаешь, наверно, как нам жить дальше. — Она замолчала, и я молчала. Алиман подняла глаза, серьезно и прямо посмотрела мне в лицо. — Не печалься, мама, — грустно улыбнулась она. — Думаешь, не осталось нам от счастья ничего, ну маленько, чуточку хотя бы. Не может быть, чтобы из четырех человек не вернулся ни один. Нет, ты постой, мама, не перебивай, послушай меня. Честно говорю, не мне тебя утешать и обманывать себя я не стала бы. Ты поверь мне, мама, сердце мне подсказывает так: Джайнак должен вернуться. Пропал без вести — это значит, что живой. Ведь никто не видел его убитым. А может, он в плену или с партизанами скрывался в лесах, а теперь вдруг объявится. Или лежит где тяжело раненный и не может сообщить об этом. Всякое может быть. Вот увидишь — возьмет да вернется, упадет как снег на голову. Давай подождем, мама, не будем хоронить прежде времени. Были же случаи — ты же сама слышала, — живыми оказывались не то что там без вести пропавшие, а даже те, на которых приходила черная бумага. Вот в соседнем аиле и еще где-то у казахов Желтой равнины уже оплакивали, поминки справили, а мертвые оказались живыми, вернулись. А я верю, точно знаю, Джайнак наш живой, вернется скоро. Никак не должно быть, чтобы из

четыре человек ни один не вернулся. Давай повременим, мама, долго ждали, подождем еще. А обо мне не беспокойся, если раньше я была тебе невесткой, то теперь я тебе как сын, вместо всех сыновей...

Алиман замолчала, и мы долго еще сидели молча. Была уже середина мая. Далеко-далеко от нас собирались в тучу облака и словно бы наливались черным дымом. Там погромыхивал гром. Оттуда тянуло прохладным духом дождя. В той дали шел светлый ливень. Он проливался струящимися потоками, блистал на солнце и незримыми широкими шагами ходил по земле: то уходил в горы, то спускался вниз, то снова поднимался в горы, то снова опускался к степи. Я смотрела в ту сторону, не отрывая глаз. Далеким дождевым ветром обдавало мое горячее лицо. Я ничего не говорила Алиман. Слова мои для нее были там: такие же щедрые и светлые, как этот светлый далекий ливень.

Да, будут идти дожди, будут расти хлеба, будет жить народ — и я с ним буду жить. Я так думала не потому, что Алиман пожалела меня, не потому, что она из милосердия сказала, что не оставит меня одну. Нет, я радовалась другому. Кто говорит, что война делает людей жестокими, низкими, жадными и пустыми? Нет, война, сорок лет ты будешь топтать людей сапогами, убивать, грабить, сжигать и разрушать — и все равно тебе не согнуть человека, не принизить, не покорить его.

А моя Алиман была человеком! Ради кого крепила она в себе веру в то, что наш Джайнак, прыгнувший темной ночью с парашютом в стан врагов и бесследно пропавший той же ночью, непременно жив и непременно вернется? Ради кого убеждала она себя, что мир не так уж несправедлив, как нам кажется? И я не посмела разрушить эту веру, я не посмела смутить ее надежды на лучшее и даже поверила ей. А что, если правда Джайнак жив? Значит, не будет никакого чуда, если в один прекрасный день он вернется. Я поверила, как дитя. Я этого хотела. И уже мечтала об этом дне, когда Алиман нарушила молчание. Она первая вспомнила, что огород остался недопаханным.

— Мама, а ведь у нас плуг простаивает. Пошли, живей! Земля пересохнет,
— заторопила она.

Мы прибежали на огород. Быки, волоча за собой плуг, давно уже паслись на траве за огородом. Алиман пригнала их назад, мы снова установили плуг в борозду и продолжали пахоту. Странно, как мало надо человеку! Порой одного доброго слова ему хватит, чтобы воскреснуть из мертвых. Так случилось и с Алиман. Или мне так казалось? Но вдруг она превратилась в прежнюю, довоенную Алиман. Все в ней засветилось, и каждое слово ее, каждая улыбка и движение — все было таким, как когда-то. Она забросила на межу свой коротенький бешмет, подоткнула платье,

засучила рукава, косынку сбила на затылок и ловко погоняла быков.

— Эй, белоголовый, цоб-цобе! Эй, куцехвостый, цоб-цобе! — покрикивала она на них, хлестко хлопая длинным кнутом.

Алиман хотела, чтобы я немного приободрилась, чтобы я работала, жила. Потому-то она и вела себя так в тот памятный день. Она оборачивалась на ходу и, смеясь, говорила мне:

— Мама, полегче налегай на чапыги — камень пойдет наверх. Побереги свою силушку!

Когда осталось нам еще два-три круга пройти по огороду, и дождь подоспел. Это был шумный, веселый ливень. Дождь сначала потрогал спины волов первыми редкими каплями, призадумался — и затанцевал сразу всеми струями, заиграл, будто в ладоши захлопал, вмиг всполошил весь аил. Закудахтав, растопырив крылья, побежали куры с цыплятами. Женщины срывали белье с веревок и тоже бежали к домам. На улицу выскакивали детвора и собаки. Они носились в дождевой кутерьме наперегонки. Ребятишки пели песенку:

Дождик, дождик, подожди, Мне с тобою по пути...

— Намокнем! Побежим переждем! — сказала я Алиман.

Она мотнула головой:

— Ничего, мама, не раскиснем! — И как девчонка, захохотав от щекотки дождя, стала быстрее погонять быков.

И я заразилась ее весельем. Любовалась ею и шептала про себя: «Светлая моя, дождевая! Какая бы ты счастливая была! Эх, жизнь, жизнь...» Теперь-то я понимаю, что все это она делала для меня. Она очень хотела, чтобы я забыла о войне, о горе, чтобы я веселей глянула на жизнь. Алиман подставляла руки и лицо струям дождя и говорила мне:

— Смотри, мама, какой дождь! Смотри, какой чистый дождь! Год будет урожайный! Цоб-цобе, дождь, лей, поливай щедрей, цоб-цобе! — И хлестала кнутом струи дождя и парные спины волов.

Смеялась она и не знала, наверно, какая она была красивая под дождем, в намокшем платье, тонкая, с крутыми грудями и сильными бедрами, с сияющими от счастья глазами и с разгоряченным румянцем на щеках. Будь же ты еще раз трижды проклята, война!

Когда ливень поредел и ушел гулять дальше, Алиман примолкла. С сожалением смотрела она вслед уходящему дождю, прислушивалась к его стихающему за рекой шуму, быть может, думая о том, что и дождь не вечен, что и он быстро проходит. Она печально вздохнула. Вспомнила ли она о Касыме или еще что, но, глянув на меня,

снова улыбнулась.

— Вот, кстати, по дождю и засеем кукурузу! — сказала она и побежала домой.

Алиман принесла в ведерке намоченную кукурузу. Взяла полную пригоршню набухших, крупных зерен.

— Мама, — сказала она мне. — Пусть Джайнак вернется, пока поспеют молочные початки! — И швырнула по огороду первую горсть.

Никогда не забыть мне этот день. Как новорожденный ребенок, выглянуло из-за облаков омытое дождем чистое солнце. По темной влажной пашне Алиман шла босая и, улыбаясь, разбрасывала через каждый шаг семена. Она сеяла не просто зерна, а зерна надежды, добра, ожидания.

— Вот посмотришь, мама, — говорила она при этом. — Сбудутся мои слова. Я еще сама испеку Джайнаку молочную кукурузу в горячей золе. Помнишь, он всегда дрался со мной из-за початков. Однажды он вытащил из золы горячий початок, сунул за пазуху — и бежать от меня. А початок как припечет ему живот. Он завертелся, словно ужаленный. Целое ведро воды выплеснул себе на грудь. А я нет чтобы ему помочь как-то, со смеху покатываюсь и приговариваю все одно: «Так тебе и надо! Так тебе и надо!» Помнишь, да, мама? — смеялась она, вспоминая этот забавный случай.

И за это спасибо ей...

14

— Да, Толгонай, долго вы ждали Джайнака.

— Долго, мать земля. Кукуруза поспела не один раз, а два, три раза поспела, а Джайнак наш так и не вернулся. И никаких известий о нем не объявилось. Ты же помнишь, сколько раз я приходила к тебе со слезами, горем своим делилась...

— Приходила, Толгонай. Да, много раз приходила ты ко мне. Плакала, спрашивала, как быть с невесткой, не погубить бы ее молодую жизнь. Но ничем я не могла помочь тебе, Толгонай. И сейчас вот уже прошло столько лет, но и сейчас ничего не скажу тебе.

15

Жизнь шла своим чередом, колхоз стал понемногу налаживаться, житье полегчало и вместе с этим тускнела память о войне, стирались ее следы в душах людей.

Мы с Алиман все так же работали в колхозе. Работу бригадирскую я передала

молодым сразу же, как солдаты вернулись с фронта.

— Три года без вас поработала, походила по мукам, а теперь вы вернулись, беритесь за дело сами, — сказала я ребятам. — А меня увольте, постарела я за эти годы, буду вам и так помогать.

Тогдашняя молодежь меня и сейчас зовет: «Бригадир-апа», стало быть, уважают еще...

Хотя жизнь и вошла в свою колею, мы с Алиман так и не обрели покоя. Никто этого не замечал, но в душе мы постоянно страдали, постоянно думали об одном и том же. На первый взгляд, казалось бы, чего легче — с глазу на глаз откровенно потолковали: так и так, мол, пусть каждый пойдет по своей дороге, пусть каждый устраивает свою жизнь. Да, суть была очень проста. Если бы невесткой моей была не Алиман, а какая-нибудь другая женщина, если бы не была она так добра со мной, я, недолго думая, сказала бы ей в глаза, что, мол, нечего засиживаться — пока не поздно, найди себе мужа и уходи. А ей, Алиман, не решалась сказать этих слов. Ведь как ни подстилай слова помягче, как их ни выбирай, а смысл остается тот же — грубый и жестокий смысл. Я не имела права гнать ее поневоле. Однажды как-то заехали к нам по пути ее родственники из Каиндов. Чтобы совесть моя была чиста, я заставила себя сказать им, что, мол, Алиман свободна и я готова благословить ее. Но Алиман им так отрезала, что мне было неудобно перед людьми и за себя и за нее. Она и говорить им запретила об этом. У меня, мол, своя голова есть, уйду я или не уйду, когда уйду — это дело мое, и не вмешивайтесь в нашу жизнь. Каялась я потом, что поспешила. Глаза прятала от Алиман. А она, умница моя, все поняла, словом не обмолвилась, как будто бы ничего и не было. Вот так мы и жили, жалели друг друга, обманывались надеждами на возвращение Джайнака; потом и эти надежды иссякли, а время шло, и уже стало поздно... Как это получилось, я и сама не знаю. Аил-то наш на скотопрогоне. Издавна гоняют здесь скот — весной в горы, а осенью — с гор, в степь. Бывает, что задерживаются у нас скотоводы по нескольку дней. Отдых дают себе и отарам.

Осенью сорок шестого года гонял здесь свою отару по суходолу в поймище один молодой чабан из соседнего аила. Видно, солдат бывший, на нем еще была серая шинель, ездил он на хорошем коне, с ружьем через плечо, шубу возил с собой, притороченную к седлу. Часто он проносился рысью по аилу. Ну, носится — и ладно, мало ли людей ездит по дорогам, кому какое дело. Я его и знать-то не знала.

В ту осеннюю пору свадьбы шли в аиле. Кто-то устроил в честь свадьбы сына козлодранье на конях. Чабан этот оказался ловким наездником. Мы с Алиман собирались на свадьбу сходить. Пока она принаряжалась, по улице проскакал кто-то и словно упал у ворот. Я выбежала глянуть. Это был тот чабан. Конь с запала горячился

под ним, приплясывал, сам он ладно красовался в седле, с плетью в зубах, с подвернутыми рукавами гимнастерки. А у самых ворот лежала туша козла. Победитель игры волен бросить его в любой двор. Только я почему-то так растерялась, что и не знала, что сказать.

— Ты к чему это, сынок? — сорвалось у меня с языка.

А он спросил:

— Дома кто?

— А кого тебе надо? — говорю.

Тогда он пробормотал, мол, уронил козла, подхватил его с земли и, развернув коня, умчался вверх по улице. Тут подросла погоня за ним. Увидели, что он ушел с козлом, и тоже следом помчались на конях. Вот и все. После этого я его не встречала. А тогда вроде обидно было. Раз уж привез в дом козла, должен его оставить хозяевам — обычай такой. А может быть, и в самом деле уронил случайно? Так почему же козел лежал не на улице, а под воротами? Что это могло значить?

Когда из дома вышла Алиман, я сразу все поняла. На ней был цветастый полушалок, шелковое платье. Она окинула меня быстрым взглядом, опустила голову, застыдилась.

— Пойдем, мама, — тихо сказала она.

Без слов стало ясно, почему прискакал сюда этот чабан. Я вспомнила, что вот уже несколько дней по вечерам Алиман ходит по воду на реку, хотя за двором в арыке полно воды, и возвращается поздно. Больно стало на сердце. Не потому, что я ревновала ее — а может быть, и ревновала, — но дело было в другом. Ведь я сама молила бога, чтобы Алиман не засиделась во вдовах, чтобы она быстрее нашла себе мужа, я желала ей этого, как счастья, а тут страх вдруг охватил меня. Забеспокоилась я, будто не невестку, а дочь родную должна выдать замуж. Боялась я, как бы она не ошиблась, каково-то ей будет в новом доме, да к каким людям попадет, да что за муж окажется. И на свадьбе, и по дороге, когда возвращалась домой, и дома не выходило у меня это из головы.

«Ты хорошо узнала его, Алиман? Что он за человек? Не торопись, доченька Алиман, смотри не ошибись. Узнай хорошенько человека», — просила я ее про себя. И думала, как бы не оказаться помехой на пути молодых. Как бы так сделать, чтобы Алиман не стеснялась меня, как бы осторожно дать ей знать, что она вольна поступать, как считает сама нужным. И я старалась скрыть свою тревогу, разговаривала с ней, как обычно, даже шутила, смеялась, чтобы она не насторожилась и, не дай бог, не подумала, что я не одобряю ее. И все-таки знала она, оказывается, о чем я тревожилась.

Вечером, когда Алиман взяла ведро и пошла по воду, я облегченно вздохнула, словно гора свалилась с плеч. Вот и хорошо: пусть встретится с ним, подумала я. Но она быстро вернулась назад. На реку не пошла, а принесла воды из арыка.

— Мама, — сказала она, ставя ведро на место. — Я воды согрею, помой себе голову.

— Успеется, — говорю, — доченька, завтра есть день, если тебе куда надо...

Но она перебила меня:

— Завтра на работу, некогда будет. Ты помой, мама, я тебе волосы расчешу гребнем.

Нагрев котел воды, Алиман принялась возиться со мной, как с маленькой девочкой, которая сама не может вымыть себе голову. Сперва она заставила меня мыть волосы кислым молоком, потом душистым мылом, потом водой и снова мылом, и все время не отходила ни на шаг, то и дело меняла воду, горячую мешала с холодной и ковшом поливала мне на голову. В другой раз я бы не утерпела, сказала, чтобы она оставила меня в покое, но в тот вечер я не могла так поступить. Я чувствовала себя виноватой, потому что из-за меня она не пошла на свидание. «Вот ведь беда, ну зачем она это сделала?» — досадовала я и на себя и на нее. А Алиман как будто была очень довольна всем и, лишь расчесывая мне гребнем косы, сказала грустно:

— Мама, когда-то косы твои были густые, наверно, и ты ведь молода была.

Она тихонько погладила меня по голове и ласково коснулась ладонями моего лица. Я не поднимала глаз — слезы навертывались. «Стало быть, прощается со мной», — думала я с тоской. Потом она заплела мне косы и достала из сундука свои давнишние духи. Касым их покупал, а она все берегла. Я стала отмахиваться:

— Да что ты, Алиман, бог с тобой! Зачем мне это? стыдно на старости-то лет, люди засмеют!

А она и слушать не хотела, смеялась, развеселившись, надушила мне лицо, шею, голову, вылила все, что оставалось в пузырьке. А потом стала обнимать меня, рассматривать со всех сторон.

— Ну вот, смотри, какая ты у меня молодая и красивая стала! — радовалась она своей затее.

Я тоже повеселела. После чая Алиман сказала:

— А теперь будем отдыхать, мама. Я тебе сейчас постелю.

В ту ночь мы обе не спали. Алиман думала о чем-то своем, вздыхала в углу, ворочалась с боку на бок. А у меня душа была полна ею. То мне виделось, как Алиман бежала по пшенице к комбайну с букетом дикой мальвы. Как она положила мальву на ступеньки комбайна и как озорно побежала назад. То мне виделось, как она не давала

Касыму сесть на коня, как она, словно малое дитя, с плачем цеплялась за его руку. То вспоминалась наша поездка на станцию. Чудилось, мы быстро едем на бричке, Алиман сидит со мной рядом с морозным румянцем во всю щеку и вся запорошена снегом. Снег налип на полушалок, на выбившиеся пряди волос, на воротник, и она от этого кажется еще красивей. То мне виделось, как она кинулась ко мне с распростертыми руками: «Мама-а! Вдовы мы, несчастные вдовы!» То виделось, как она убегала от меня в черном платке по красному полю тюльпанов. Все, что связывало нас, перебрала я в памяти и вдруг представила себе, как она уходит с тем чабаном, угоняя его отару по суходолу. Будто слышу ее голос: «Прости, мама, ухожу я. Не поминай лихом, прощай, мама!» Я бежала за ней по крутояру, махала рукой и тоже прощалась: «Прощай, свет мой! Закатилась звезда моя. Прощай, Алиман! Будь счастлива, прощай!.. Эй, парень! — кричала я чабану. — Смотри не обижай ее, береги мою невестку. А не то прокляну тебя, страшной клятвой прокляну!» Слезы стекали по лицу на подушку. Я тихо плакала, укрывшись с головой, чтобы не услышала Алиман.

На другой день, вернувшись с работы, Алиман никуда не пошла. Осталась вечером дома. После этого чабан угнал куда-то отару и больше не появлялся. Алиман, видно, переживала это, ходила хмурая.

«Плюнула бы на меня и ушла с ним, коли он по душе тебе, — ругала я ее про себя и жалела: — Эх, бедняжка ты моя, горемычная. И на что ты уродилась такая на беду свою!» Но дни шли, и понемногу все это забылось.

Ранней весной тот чабан снова появился у нас. Я заметила его в поймище, где он пас овец. И снова Алиман стала уходить по вечерам и возвращалась поздней ночью. Я ей ничего не говорила. Сама она должна была решать свою судьбу.

Как-то ночью я долго ждала Алиман. Аил весь спал, и я прилегла было, прикрутила лампу, но не спалось. Непокойно, тяжело было на душе. Ожидая Алиман, я прислушивалась к каждому шороху за окном. На дворе стояла луна, тучи иногда задевали ее краем, погода была тихая, весенняя. Знобило меня. Не от холода, а от одиночества. Укуталась я в шубу и задремала сидя. А потом проснулась, испугавшись чего-то; смотрю — Алиман появляется в дверях. Пуговицы на платье сорваны, видна голая грудь, волосы растрепаны и глаза помутневшие. Первый раз я видела ее пьяной. Переступив порог, она зашаталась, едва не упав, схватилась за печку и замотала головой. У меня мороз пробежал по коже.

— Что смотришь? — спросила она, подняв голову. — Ну что ты смотришь на меня? Да, я пьяна. Да, я пила водку. А что мне остается делать? Кому же пить, если не мне, а? Что? Молчишь?

Онемела я, слова не в силах была выдать. Жутко было глядеть, до чего

невестка моя докатилась. Алимман стояла все так же, держась за печь. Опустив голову, она вдруг зашептала:

— Мама, ты ничего не знаешь. А я... я... я сегодня... Помнишь, когда провожали Касыма, мы ходили на реку. Вот там... — И, не договорив, вскрикнула, схватилась за голову, упала на пол и забилась в плаче.

И только тогда я пришла в себя. Кинулась к ней, схватила ее, прижала к груди:

— Что с тобой, Алимман? Что ты плачешь? Ну скажи! Опечалилась? Или обидел кто? Скажи, скажи мне! Или на меня в обиде? Если в обиде, выскажи все, что на душе...

— Нет, нет, мама, мамочка! — захлебывалась Алимман в слезах. — Бедная моя, несчастная, одинокая моя! Ничего-то ты не знаешь... А если бы и знала, что бы ты могла сделать? Ой, мама, мама, ой, мама!

Долго еще она стонала, уткнувшись в меня мокрым лицом. А потом понемногу успокоилась и уснула. Но и во сне она продолжала всхлипывать и жалобно стонать. До самого рассвета просидела я у ее изголовья и все думала: как нам быть дальше? Что делать? Решила поговорить с ней начистоту. Но утром она не стала разговаривать со мной. И без того ей было тошно. Молча глазами просила не напоминать ей о том, что случилось ночью, только когда мы выходили на работу, тихо сказала в воротах:

— Прости меня, мама.

И я не стала больше тревожить ее.

Прошло месяца три. Летом было следствие по делу того самого дезертира Дженшенкула. После войны он не решался открыто вернуться в аил, но украдкой по ночам, оказывается, бывал дома. Скрывался он где-то в Казахстане, промышлял там спекуляцией, перепродавал ворованный скот и вот попался. Выяснились его прошлые дела, и Дженшенкула привезли к нам в аил на очное дознание. Ко мне тоже прискакал рассыльный из сельсовета, говорит:

— Вызывают тебя свидетелем.

Я пошла. На улице встретила Алимман. Она возвращалась с работы. Усталая, понурая, шла она в сторонке от всех. Потемнела она лицом в то лето. Мне стало жалко ее, и, чтобы не сидела она дома одна, я сказала ей:

— Идем, детка, сходим в контору. Домой вернемся вместе.

А она ответила:

— Нет, мама. Что мне там делать? Я пойду домой, голова что-то болит.

— Ну, иди, — сказала я ей. — Да приляг, отдохни. Корову я сама буду доить.

Возле сельсовета стояла глухо крытая машина. На крыльце толпились люди, вызванные как свидетели, и те, что завернули сюда по пути с работы. Давненько я не

видела Дженшенкула, почитай лет семь. Видно, дурная жизнь шла ему впрок. Здоровенный, толсторожий, сидел он на скамейке у окна, угрюмо поглядывая исподлобья, и огрызнулся в ответ кому-то:

— Ты говоришь, что я вор, а вы меня ловили руками, вы меня видели глазами? Нет! Так вот не возводи напрасно поклеп. Можешь говорить сто раз, и все это пустое. Факты, факты нужны!

Услышав это, я рванула приоткрытое окно и крикнула с улицы:

— Ты врешь, сволочь! Тебе факты нужны — вот я — факт!

— Мамаша, войдите сюда, — попросил меня следователь, привстав из-за стола.

Я вошла и сразу заговорила:

— Да, мы тебя не ловили на месте преступления. Да нам и некогда было гоняться за тобой. Мы тогда ногтями пахали землю, мы тогда хлеб добывали для фронта. Мы тогда колоски собирали, чтобы прокормить детей. А ты угонял наших лошадей — с плуга срывал тягло рабочее. Ты тогда вырывал из рук последние семена, собранные по зернышку, от детей отрывали мы, а ты от нас. Значит, ты был врагом. И когда я догнала тебя, я крикнула: «Стой, я знаю тебя! Ты Дженшенкул!.. Стой!» Ты обернулся и выстрелил в меня. Вот тебе факты!

Я замолчала, и следователь сказал мне:

— Спасибо вам, мамаша. Теперь вы свободны. Можете идти домой.

Я выходила из сельсовета, как вдруг к двери выскочила жена Дженшенкула. Она, как бешеная, накинулась на меня с криком:

— Ах ты, карга одинокая! Ты все правды ищешь, и правда карает тебя. Так тебе и надо. Мало было, теперь поплачешь. Откуда живот у твоей невестки, а? Под носом у тебя твоя шлюха забрюхатела, а ты правды ищешь. Вот и поищите теперь вместе, бесстыжие твари!

Люди оттащили ее от меня в угол, зажали ей рот, но я сказала им:

— Отпустите ее, не троньте! — И молча пошла домой.

То ли пыль по дороге была такая горячая, то ли стыд жег мои ноги, но сначала я чуть не бежала. А потом медленно побрела, стала собираться с мыслями. Никогда мне в голову не приходило такое, а ведь можно было догадаться. В последнее время Алиман как-то странно изменилась, неразговорчивой стала, нелюдистой, сторонилась даже подруг своих. Я приписывала это тому, что с чабаном тем у нее ничего не получилось. Он еще весной ушел в горы, и след его простыл. Думала, что не поладили они, вот она и переживает. Однако дело-то оказалось совсем другое. Ах, какая беда! Но кто мог знать, что так получится. Растерялась я, не представляла, что делать. На другой день вечером Айша позвала меня к себе заглянуть на огонек. За чаем и за

разговорами она сказала между прочим:

— А жена Дженшенкула ночью переехала куда-то из аила.

Я промолчала. Какое мне было дело? Переехала, ну и пусть. Каждый волен себе. И только потом, года через два, я узнала: пришли ночью люди к жене Дженшенкула, погрузили все ее добро на брички и сказали: «Езжай, куда хочешь. Тебе у нас в аиле нет места». После этого никто никогда не напоминал мне о нашей с Алиман беде. Может быть, самой ей и говорили что-нибудь, может быть, люди всякое думали про себя, кто жалел, а кто осуждал ее, но мне никто не намекал об этом, и за это людям великое спасибо. Прошло столько лет, но все по-прежнему уважают меня.

После того как я узнала, что Алиман беременна, у нас с ней ничего не изменилось. Жили, работали, советовались обо всем, как и раньше. О своем будущем материнстве Алиман не заговаривала. То ли не решалась, то ли откладывала до поры до времени. Я тоже молчала об этом, щадила ее гордость. А главное — в душе я не осуждала ее. Права такого не имела, потому что вся ее жизнь проходила на моих глазах, все я видела, все понимала и в чем-то сама была виновата. И поэтому я сразу сказала себе: если Алиман совершила грех, то это и мой грех, если она родит, то это и мой ребенок и весь стыд, все тяготы и муки возьму на себя. Я знала, так же как и она, что рано или поздно наступит день, когда мы поневоле заговорим и простим друг другу долгое молчание. И все же мы откладывали разговор сегодня на завтра, завтра на послезавтра. Однажды я все-таки проговорилась.

К концу лета, когда Алиман носила уже пятый или шестой месяц, как-то рано утром я погнала корову к стаду. Мальчишка-пастушок звенел в то утро, как кочеток. Стадо поравнялось с нашим двором. Погоняя коров, пастушок улыбался мне во всю рожицу.

— Тетушка Толгонай! — сказал он. — Суйунчу — давайте мне плату за хорошую весть! Сноха деда Джоробека родила!

— Да ну! Когда родила?

— На рассвете.

— Мальчик или девочка?

— Девочка, тетушка Толгонай. Сказали, что имя ее будет Жаворонок. Потому что родилась она на заре, как жаворонок!

— Вот и хорошо. Пусть долго живет. Спасибо за добрую весть.

Очень тронуло меня, что этот мальчишка-сирота так радовался тому, что кто-то родился на свет. Довольная этим, я пошла домой. И как это могло случиться, что в ту минуту я забыла о том, о чем думала и днем и ночью? Я крикнула в воротах:

— Алиман, ты слышала новость? Сноха Джоробека родила. Девочку. Слышала?

Бедняжка так тяжело переносила; слава богу, благополучно... — И, не договорив, осеклась, словно камень попал на больной зуб.

Алиман стояла молча, опустив глаза и добела прикусив губу. Что подумала она в тот миг? Может, у нее мелькнула мысль, что, когда она родит, никто не будет с такой радостью оповещать об этом людей. Мне стало невыносимо жарко от стыда за свою неловкость. Не смея взглянуть ей в глаза, я подседа к очагу и принялась подкладывать кизяки в огонь, хотя в этом не было никакой нужды. Когда я обернулась, Алиман все так же, опустив глаза, стояла у стены. Сердце защемило от жалости. Я заставила себя встать и подойти к ней.

— Что с тобой, тебе нездоровится? — спросила я.

— Нет, мама, — ответила она.

— Может, тебе трудно на работе — полежала бы дома.

— Да нет, не трудно, мама. Табак низать — какая же трудность, — сказала она и пошла на работу.

Тогда я решила, что больше тянуть нельзя. Надо сейчас же сказать, что ей нечего стыдиться, что все новорожденные одинаковы и что ее ребенок будет для меня родным. Буду нянчить его, как нянчила своих детей. Пусть она поймет это. Пусть не вешает головы. Пусть живет гордо. Смотрит людям в глаза смело — она имеет право быть матерью.

С этими мыслями я выбежала за ней, окликнула ее:

— Алиман, подожди минутку. Разговор есть, постой!

Она сделала вид, что не услышала, ушла, не оглянувшись.

Весь день переживала я, думала: «Нет, так дальше нельзя. Вечером скажу обязательно. Так будет легче ей и мне». Но не пришлось мне исполнить свое намерение. Вечером, когда я вернулась с работы, Алиман не было дома. Подождала и забеспокоилась. Что с ней? Почему так долго не возвращается? Собралась идти искать и, выйдя из дому, увидела Бекташа. Он молча вошел в калитку с большой охапкой зеленой травы. Так же молча бросил траву в кормушку корове и только тогда сказал негромко:

— Тетушка Толгонай, Алиман передала, чтобы вы ее не искали. Она сказала, что уезжает к себе, в Каинды.

Ноги мои подкосились, я села на порог.

— Когда уехала?

— После обеда. Часа два тому назад. Уехала на попутной машине.

Я сидела как побитая. Так тошно, так беспросветно было на душе, точно час мой смертный настал. Бекташ стал успокаивать меня:

— Да вы не волнуйтесь, тетушка Толгонай. Шофер посадил ее в кабину. В кабине хорошо, — говорил он.

«Эх, Бекташ, Бекташ, если бы дело было только в этом», — думала я про себя. И все же я была благодарна ему за его бесхитростное утешение. В ту пору он был уже рослым парнем. Работал в колхозе ездовым. Посмотрела я на него и удивилась, как быстро он вытянулся, раздался в плечах. И походка и голос стали уже мужскими. И лицо спокойное, приветливое. Я его мальчишкой еще любила, и в такой горький для меня час хорошо было, что он пришел ко мне. Бекташ принес воды из арыка, поставил самовар, полил водой двор и стал подметать.

— Вы отдыхайте, тетушка Толгонай, — сказал он. — Я сейчас кошму постелю под яблоней. Мама придет. Говорит, соскучилась то вашему чаю. Она сейчас придет.

После того как ушла Алиман, дни стали бесконечными. И как я могла до этого считать себя одинокой? Вовсе не знала я, оказывается, что такое настоящее одиночество. Потерпела дня три, а потом стало невмоготу. Дом не дом и жизнь не жизнь. В пору хоть уйти куда-нибудь скитаться по свету. А как подумаю, что там с Алиман, — еще тяжелей становилось. Хорошо, если родственники в Каиндах приняли ее подобру, а что, если издеваются: когда-то слушать не желала — не ваше, мол, дело, сама знаю, не вмешивайтесь, а теперь пришла опозоренная приют искать, теперь мы тебе нужны стали. Могли ей так сказать? Конечно, могли. И если сказали, каково-то ей там? Гордая она, снесет ли эти упреки? Не дай бог, руки еще наложит на себя. Эх, Алиман, Алиман, была бы ты рядом со мной, сама бы весь позор приняла, но в обиду никому не дала. Всякое думала, по-всякому гадала. А потом сказала себе: «Нет, так не годится. Поеду узнаю, посмотрю сама. Буду упрашивать, может, послушается, вернется домой. Какое счастье было бы, если бы она снова вернулась. А если не захочет вернуться, ну что ж, ничего не поделаешь. Благословлю ее, поплачу и приеду назад». Так я решила и на другой день собралась в путь. Дом и корову поручила Айше. Бекташ остановил на улице попутную машину, села я в кузов и отправилась в Каинды.

Когда мы выехали за аил и двинулись по проселку, я заметила женщину, идущую по тропинке в жнивье. Сразу узнала — Алиман! Родная, ненаглядная моя, она возвращалась ко мне домой. Я заколотила кулаками по кабине: «Стой! Стой! Остановись!» Машина с разгона прошла еще немного, остановилась, я схватила курджун и скатилась с кузова. В налетевшей пыли все вокруг сразу скрылось, как в густом тумане. Я подумала даже, не во сне ли видела мою Алиман. Когда пыль ушла вслед за машиной, я снова увидела ее.

— Алима-ан! — крикнула я изо всей мочи.

Не помню, как добежала. Помню только, обнимались мы, целовались, плакали. И так истосковались, оказывается, друг по дружке, что и слов-то не находили, как сказать об всем, что думано и передумано было за эти дни. Ласкала я, гладила лицо Алимана и все говорила одно и то же:

— Вернулась, да? Вернулась, доченька моя. Вернулась ко мне, к матери своей! Вернулась!

Алиман отвечала:

— Да, вернулась! Вернулась, мама, к тебе. Вернулась!

И когда мы стояли так, обнявшись, ребенок ее вдруг шевельнулся внутри и раза два толкнул ножкой в живот. Мы обе услышали эти толчки. Алиман положила руки на живот и стала осторожно гладить его ладонями. И глаза ее в ту минуту будто перевернули всю мою жизнь. И как мне могли приходиться в голову скверные мысли о ней! О святое материнство! Одна лишь такая капля счастья окупит море твоих страданий. Я прижалась к ее щеке и, не удержавшись, заплакала:

— Ненаглядная моя, сердечная, ласковая! Как я боялась за тебя!

Она успокаивала:

— Не плачь, мама. Прости меня, глупую. Не уйти мне никогда от тебя. Попробовала — ничего не получилось: не вытерпела я, все время тосковала о тебе.

Я решила, что подошел самый удобный случай для нашего откровенного разговора, и сказала ей:

— Ты почему ушла, обиделась?

Она молчала, точно обдумывая свой ответ, а потом со вздохом сказала:

— Не спрашивай меня об этом, мама. Зачем тебе это? Ты мне ничего не говори, и я ничего не буду тебе говорить. Не мучай меня, мама, и так мне тошно.

Опять она уклонилась от разговора. И вот так всякий раз. Как она не понимала, что этим делала себе только хуже!

Осень в том году была затяжная и очень дождливая. Не было дня, чтобы не капало сверху. И в эти серые, долгие ненастные дни мы большей частью сидели дома. И так же, как сама осень, томилась Алиман. Все больше мрачнела, вовсе перестала разговаривать и смеяться. Все думала о чем-то. Сдавалось мне: последние дни донашивала она ребенка. Как ни старалась я расшевелить немного ее, приободрить шуткой, лаской, ничего из этого не получалось. Не дитя же она маленькое, чтобы ее печаль можно было развеять шуткой. Да не только я — и другие пытались как-то помочь ей в беде, но что можно было сделать? Бекташ однажды привез нам соломы. Говорит, мать снова слегла. И я пошла попроведать Айшу. Жар был у нее, кашляла. Я ее пожурила немного.

— Сама, — говорю, — ты виновата. Знаешь, что беречься тебе надо, так нет, куда там, разъезжать стала по гостям, да в такую погоду.

Она виновато улыбнулась. Возразить-то ей было трудно, потому что до этого ездили они, четыре женщины, на бричке Бекташа в соседний аил в гости к кому-то, на свадьбу. Когда я собиралась было уже уходить, Айша задержала меня.

— Постой, — говорит, — Толгонай, если не осерчаешь, разговор есть у меня к тебе.

— Ну, говори. — Я вернулась от дверей.

— В нижний аил мы ездили не на свадьбу. Родственников там у меня нет, ты это и сама знаешь. Задумали мы одно дело, хотя и без разрешения на то от тебя, так ты прости нас, Толгонай, хотели, как лучше. Нашли мы этого парня, чабана, ну и взяли его в оборот. Говорим: так и так, Алиман уже на сносях, последние дни, а ты и глазу не кажешь. Как же так получается? Нехорошо вроде! Однако ничего у нас не вышло из этого. Во-первых, жена у него есть, а во-вторых, совести у него нет. Отрекся: не знаю ничего и знать не хочу. Ни в какую. Да тут еще жена его пронюхала, в чем дело. Да такая скандальная баба оказалась, накричала, наорала на нас, срам один. Обесчестила и прогнала. А в пути дождь застиг холодный, промокли до ниточки, вот и слегла я. Но и это ладно, как же теперь с Алиман-то, а? — И Айша, зажимая рот, заплакала.

— Не плачь, Айша, — сказала я ей. — Пока я жива, в обиду ее не дам! — И вышла. А что я еще могла сказать?

Потянулись трудные дни, роды приближались, и тут уж я не спускала глаз с Алиман. Она во двор — и я за ней. Ни на шаг не отставала. Боялась, как бы не упустить схватки. А не то стала бы я разве надоедать ей?

А однажды смотрю — оделась она тепло, платком укуталась.

— Ты куда, — говорю, — доченька?

— На реку пойду, — ответила она.

— Не ходила бы ты, что там делать, на реке, в такую сырость? Посиди лучше дома.

— Нет, пойду.

— Ну, тогда и я пойду. Одну тебя не отпущу, — сказала я.

А она так глянула на меня — и все, что наболело у нее на душе за эти дни, всю свою злобу сорвала на мне.

— Да что ты привязалась ко мне? Чего тебе надо от меня? Что ты ходишь по пятам, как тень? Оставь меня в покое. Думаешь, подохну я, что ли, не подохну! — Хлопнула дверью и ушла.

Будто по сердцу моему хлопнула она дверью. Очень обиделась я. И, однако, не усидела, опять же вышла на задворье глянуть, где Алиман. Не видно было ее, ушла она в поймище.

Дождь моросил мелкий-мелкий, почти невидимый, будто холодным паром обдавало. Ветер таскал за космы седые тучи. В саду было неуютно. Деревья стояли голые, озябшие, с мокрыми, потемневшими ветвями. Народ весь сидел по домам. Безлюдно кругом. За дымной мглой вдали едва угадывались гребни темного хребта.

Подождала я немного и потом пошла следом: пусть как хочет ругает меня, но хуже будет, если ляжет где-нибудь в сырости, когда начнутся схватки. Выйдя на тропу за огородом, я увидела Алиман. Она возвращалась. Шла медленно, едва передвигая ноги и понуро опустив голову. Поспешив домой, я поставила чай, быстренько наделала оладий на сметане и яйцах. Потом расстелила на кошке чистую скатерть и принесла яблок-зимовок, выбрала самые красные. Алиман вошла и, увидев скатерть, молча грустно улыбнулась мне.

— Замерзла, доченька? Садись, чай попей, покушай оладий, — сказала я ей.

— Нет, ничего мне не хочется кушать, мама. Дай вот одно яблоко. Попробую, — ответила она.

— Может, у тебя где болит, Алиман, ты скажи мне, — стала допытываться я.

Но она опять сказала:

— Не спрашивай меня, мама. Я какая-то сама не своя. Ненавижу себя. И тебя обругала ни за что. Лучше оставь меня в покое. — И махнула рукой.

Наступила ночь, и, укладываясь спать, я с обидой думала, что теперь Алиман не нравится все, что бы я ей ни сказала, и с этой обидой уснула. Обычно я часто просыпалась по ночам, поглядывала, как там Алиман, а тут сон придавил меня, словно камнем. Если бы я знала, разве сомкнула бы я глаза — да десять ночей подряд не прислонила бы голову к стене...

Не помню, когда и отчего я вдруг проснулась. Глянула — а Алиман нет на месте. Спросонья-то не сразу сообразишь. Подумала сначала, что вышла на двор. Подождала немного. Нет, не слышно. Потом потрогала постель Алиман. Постель холодная, и у меня сердце похолодело: давно уже она встала! Кое-как оделась и выскочила во двор. Обошла все углы, сбегала на огород, выскочила на улицу. Стала звать ее: «Алиман! Алиман!» — не отзывалась. Только собаки всполошились, залаяли по дворам. Муторно стало мне: значит, ушла! Куда же она ушла в такую темную ночь? Что делать теперь? Может, догоню? Бросилась снова в дом, фонарь засветила и с фонарем в руках пошла искать. Но, выходя из дверей, услышала, будто застонал кто и вскрикнул в сарае. Кинулась через двор, рванула двери сарая — и фонарь чуть не выронила из рук,

застыла, не веря своим глазам: Алиман лежала на соломе навзничь. Рожала. Металась в горячке.

— Да что же ты это? Почему не сказала? — закричала я и бросилась к ней.

Хотела помочь, стала приподнимать ее и содрогнулась, когда на руку мне навернулся пропитанный кровью подол платья. Алиман горела, как огонь. Она тяжело и с хрипом выдыхала:

— Умираю... Умираю...

Видно, давно уже она маялась.

— Упаси боже! Упаси боже! — взмолилась я, поняв, что ей самой не разродиться, что спасти ее может только доктор.

Я оставила ее и побежала к Айше, заколотила в окна изо всех сил:

— Вставайте, вставайте быстрее! Бекташ, запрягай бричку. Плохо с Алиман! Быстрее, милый, плохо с ней!

Разбудила их, прибежала назад, дала Алиман воды. Зубы ее стучали по кружке, било ее как в лихорадке, кое-как сделала она два глотка и снова скрутилась, заохала. Тут подросла Айша, запыхалась, на ногах едва держится, больная ведь лежала. Как увидела, что с Алиман, — с лица сошла, запричитала:

— Алиман, милая, да что ж это такое? Алиман, деточка моя! Не бойся. В больницу повезем!

К счастью, Бекташ в тот день вернулся домой поздно и потому лошадей не отвел на конюшню, а поставил у себя под навесом. Он быстро пригнал бричку во двор. Мы набросали в нее сена, постель постелили, подушки подложили и втроем кое-как вынесли Алиман из сарая, положили в бричку. И тут же, не медля, поехали в больницу.

Ах, эта разбитая осенняя дорога, ах, эта темная проклятая ночь... Больница была тогда только в Заречье, а мост через реку в объезд далеко внизу.

Как только мы выехали из аила, у Алиман снова начались схватки, она закричала, стала сбрасывать с себя все. Я держала ее голову у себя на коленях. То и дело укрывала одеялом, то и дело подносила к лицу фонарь — все смотрела ей в глаза, успокаивала. И Бекташ успокаивал:

— Потерпи, Алиман. Скоро приедем. Вот увидишь, сейчас приедем. До моста уже рукой подать.

До моста еще было кто его знает сколько. Погнать бы лошадей вскачь, да никак нельзя — растрясет Алиман. А тут дождь припустил сильнее. Все будто сошлось одно к одному — тьма непроглядная, холодный дождь, грязь да ухабы. Алиман билась в судорогах, стонала, кричала и вдруг как-то сразу затихла, захрипела.

— Алиман! Алиман! Что с тобой? — всполошилась я, обняла ее, посветила фонарем. На меня глядели ее горящие глаза.

— Остановитесь! Умираю я! Остановитесь! — проговорила она черными, запекшимися губами и стала задыхаться.

Мы остановили бричку.

— Подними мне голову выше, — попросила она. — Воздуху не хватает. — И заплакала. И, торопясь, глотая слезы, стала говорить: — Мама, родненькая... Горит у меня все внутри, сил нет... Умираю я... Спасибо тебе за все, мама. Прости меня... Если бы Касым был жив. О-ой, Касым, умираю я... Прости меня...

Я взмолилась перед ней:

— Нет, доченька, не умрешь ты. Потерпи, потерпи, родная. Вот уже до моста недалеко. Слышишь, не умрешь ты!

Ее снова скрутило. Стиснув зубы и теряя сознание, сна забилась из последних сил.

— Бекташ, — приказала я. — Бери ее под руки, поднимай! Быстрее! Да не стыдись ты, ради бога!

Бекташ поднимал Алиман, а я старалась помочь ребенку. Потом Бекташ заплакал навзрыд, и тут снова вдруг вспомнился мне грохот эшелона, и пошли, пошли стучать в ушах колеса; ветер донес крик: «Мама-а! Алима-ан!» И сейчас же раздался крик новорожденного. О жизнь, почему ты так жестока, почему ты так слепа! Ребенок родился, а Алиман умирала. Я успела только завернуть в подол мокрое, голое тельце, глянула, а она, мать Алиман, уже безжизненно висела на руках Бекташа. Голова откинулась набок, руки болтались как плети.

— Алиман! — вскрикнула я не своим голосом и схватила ее руку; пульс пропадал.

В одно мгновение на глазах у меня столкнулись жизнь и смерть!

Когда мы повернули назад, рассвет уже занимался. В сумеречном свете кружились крупные белые снежинки. Они мягко опускались на дорогу. Вокруг была тишина — ни звука, во всем мире была белая тишина. И в этой белой тиши бесшумно тащились усталые лошади с белыми гривами и белыми хвостами, беззвучно рыдал Бекташ, сидя на бричке. Он не погонял лошадей, лошади сами шли. Он всю дорогу плакал. А я шла рядом по обочине дороги, укрыв ребенка под чапан у себя на груди, и белый снег на земле казался мне черным.

утро, была самой трудной дорогой в моей жизни, и мне казалось, что лучше умереть, чем так жить... А младенец, пригревшийся у меня на руках, пошевеливался теплым, мяконецким комочком и не переставал плакать. Несла его и говорила: «Какой же ты несчастный родился, с первым криком своим распрощался с матерью». И вдруг откуда-то издалека донеслась мысль: «А ведь жизнь не совсем погибла, остался росточек». Но тут же подумала: «Да какой же он жилец, если не попробовал даже материнского молока. Нет, надолго не хватит его». Но так хотелось, чтобы ребенок остался жив, что я взмолилась судьбе: «Ну, оставь в живых хоть этого! Не дай ему умереть. Может, выживет! Может, выкарабкается как-нибудь?» Вот так и шла, отчаивалась, надеялась и снова отчаивалась, и незаметно наступило утро, когда мы добрались до аила.

Снег все так же бесшумно и густо валил, все так же стояла вокруг белая тишина. И среди этой тишины заброшенные развалины недостроенной улицы показались еще более страшными. От того, что здесь было начато семь лет назад, остались лишь жалкие следы. Снег кружил над безжизненной улицей, замечая сугробами зияющие пустотой руины и унылые заросли сухих колючек и кураев. На бывшем дворе Алимана и Касыма, точно в память их забот и мечтаний, все так же лежали гряда камней и куча кирпичей.

Навсегда успокоенная, Алимана лежала бледная, с закрытыми глазами. Голова моталась из стороны в сторону, снег падал на ее лицо и не таял.

У первых дворов аила Бекташ прыгнул с брочки и первый раз в жизни громким мужским плачем оповестил людей о смерти человека. Из дворов стал выбегать народ, нас обступили со слезами. Прибежала Айша, заголосила на всю улицу, взяла у меня ребенка и понесла его к себе домой.

Через день мы похоронили Алимана. По обычаю женщине не положено идти на кладбище, но я пошла, и никто ничего не сказал мне: в доме у меня не было мужчин, чтобы я могла соблюсти обычай. Я сама схоронила Алимана, сама уложила ее на дно могилы и сама бросила первую горсть земли. В тот день тоже шел густой, пушистый снег. Красная куча глины быстро стала белой горкой.

Весной я посадила на могиле Алимана цветы. Каждую весну сажаю. Ведь она очень любила цветы.

Ну, а дальше снова началась жизнь. В первые дни Жанболота кормила грудью сноха деда Джоробека, а потом я стала давать ему козье молоко. Хватили мы с ним горя вдосталь, стоит ли об этом говорить. Одним словом, было ему написано на роду остаться в живых, и он выжил. И за это благодарю судьбу. Теперь ему двенадцать лет. Доктор, что лечил его маленького, — нынче известный в округе человек, и сейчас при

встрече спрашивает:

— Ну как, бабушка, внучек-то растет?

— Слава богу, — говорю, — джигит уже!

Он смотрит на меня и улыбается:

— Вот и хорошо, расти его человеком.

Знает он нас с Жанболотом давно. Жанболоту было тогда года полтора. Конечно, болезненным рос он. Однажды простыл сильно и занемог не на шутку. Смотрю, губы посинели, глаз не открывает и дышит едва-едва. Схватила я его

— и быстрее в больницу. И опять же ночью да в зимнее время вброд перешла реку. Доктор оказался молоденьким парнем, недавно, наверно, учение кончил. Как увидал меня, что дрожу от холода в мокрой одежде, перепугался, замахал руками.

— Да вы с ума сошли, кто вам разрешил ходить по воде? Где его родители?

— Я ему и отец и мать, сынок. Не дай ему помереть. Если помрет, жить не буду, — сказала я ему.

Всю ночь он возился с малышом, через каждые два часа уколы делал. Мне дал сухую одежду, лекарствами поил, однако утром свалилась я в жару, кровью захаркала. Лежала я в горячем тумане, в забытьи. Помню только, что доктор подходил к изголовью, клал мне руку на лоб и говорил:

— Не сдавайся, мамаша, держись. Внучек твой смеется уже, выздоровел.

— Коли так, и я вытяну, — прошептала я.

Может, поэтому и выжила я, что внук остался жив.

Летом в этом году интересный случай был. На каникулах бегал он по улицам, а потом смотрю — выволок во двор велосипед Касыма. Тот самый, двадцать лет висел он в сарае под крышей. Да, вытащил, стало быть, и давай ремонтировать. Ну, я ничего не сказала, мальчишка ведь, думала, повозится, повозится и бросит. Ремонтировать-то там было нечего: железо все в ржавчине и резина полопалась. Прибегали друзья его и тоже смеялись. Это, говорят, рухлядь, допотопная машина. А он, упрямый, сопит и делает свое. Не знаю, получилось бы у него что-нибудь или нет, если бы не Бекташ. Он тоже ввязался в это дело. И тоже с самым серьезным видом, как мальчишка, хотя он и отец семейства. Бекташ любит Жанболота, если что — и в школу ходит к учителям. Женился он, когда Айша была еще жива. Умерла она года через три после Алимана. Крепко убивалась я по подруге своей. Сколько мы с ней повидали горя! А Бекташ хорошим вышел человеком. Разумный, работающий. Трое детей у него, жена — Гульсун — добрая соседка. А сам он давно уже комбайнером работает.

Так вот однажды Жанболот появился с велосипедом, начищенным, смазанным, и сам весь в масле.

— Бабушка, — сказал он, — смотри, какой стал отцовский велосипед!

У меня и руки отнялись: радостно и горько мне стало от этих слов. А он загордился.

— Я, — говорит, — и ездить уже умею. Вот смотри!

На седло сесть — ноги не достают педалей, так он прицепился сбоку к велосипеду, перегнулся весь и поехал, завихлял из стороны в сторону: вот-вот свалится.

— Слезь, упадешь! — прикрикнула я.

А он еще пуще. В ворота — и на улицу. Я за ним. Разогнался по дороге да как полетит с размаху вместе с велосипедом. Сильно ушибся. Я добежала, подняла его с земли, стала ругать:

— Убиться хочешь, что ли? Ишь, что выдумал! Не смей больше ездить!

А он говорит:

— Я больше не буду падать, бабушка. Это я попробовать хотел, я ведь еще не падал с велосипеда.

Я рассмеялась. Смотрю, Бекташ стоит у калитки. Вроде бы так просто, стоит и поглядывает. Он ничего не сказал, и я ничего не сказала. Но мы без слов поняли друг друга.

А тут вскоре жатва началась. Бекташ как-то зашел к нам вечером.

— Хочу, — говорит, — вашего Жанболота в помощники взять на комбайн.

— Если подходит, бери, — согласилась я.

Разрешить-то разрешила, а через два дня пошла проведать. Дитя ведь еще: может, трудновато будет.

Жанболот мой работал на комбайне соломщиком. Он увидел меня и закричал, будто с вершины горы:

— Бабушка! Я здесь!

А Бекташ, стоя у штурвала, помахал мне рукой, поклонился.

До самого вечера сидела я в тени под деревом у арыка и смотрела на жатву. Машины пылили взад-вперед по дороге, отвозя обмолот на тока.

В сумерках пришли комбайнеры отдохнуть. Жанболот шагал устало и гордо, подражая Бекташу, и, так же молча и так же фыркая, стал умываться по пояс в арыке. А когда увидел узелок в моих руках, обрадовался:

— Бабушка, ты яблоки принесла?

— Принесла, — ответила я.

И тогда он подбежал, обнял меня и поцеловал.

Бекташ прыснул со смеху.

— Что ж ты важничал? Давно бы так. Ну, поласкайся, поласкайся, а то некогда будет.

Ужинать сели мы на траву подле полевого вагона. Хлеб был горячий, только что испеченный. Жанболот разломил лепешки и сказал:

— Бери, бабушка!

Я благословила хлеб и, откусив от ломтя, услышала знакомый запах комбайнерских рук. Хлеб припахивал керосином, железом, соломой и спелым зерном. Да-да, в точности как тогда! Я проглотила хлеб со слезами и подумала: «Хлеб бессмертия, ты слышишь, сын мой Касым! И жизнь бессмертна, и труд бессмертен!»

Домой меня комбайнеры не отпустили. Говорят, вы у нас гостья, оставайтесь ночевать в поле. Мне постелили на соломе. Глядела я в ту ночь в небо, и чудилось мне, что Млечный Путь усеян свежей золотистой соломой, рассыпанными зернами и шелухой обмолота. И в той звездной выси, сквозь Дорогу Соломщика, как далекая песня, уходит эшелон, удаляется стук его колес. Засыпала я под этот затихающий стук и думала, что сегодня пришел на свет новый хлебоборб. Пусть долго живет он, пусть будет у него столько зерна, сколько звезд на небе.

А на рассвете я поднялась и, чтобы не мешать комбайнерам, пошла в аил.

Давно я не видела такой великой зари над горами. Давно я не слышала такой песни жаворонка. Он взлетал все выше и выше в ясное небо, повис там серым комочком и, словно человеческое сердце, неустанно бился, трепыхался, неумолчно звенел на всю степь. «Смотри, запел наш жаворонок!» — говорил когда-то Суванкул. Чудно, даже жаворонок был у нас свой. И ты бессмертен, жаворонок мой!

17

— О поле мое заветное, ты сейчас отдыхаешь после жатвы. Не слышно здесь голосов людей, не пылят на дорогах машины, не видно комбайнов, не пришли еще стада на стерню. Ты отдало людям свои плоды и теперь лежишь, как женщина после родов. Ты будешь отдыхать до взмета зяби. Сейчас здесь нас двое — ты да я, и больше никого. Ты знаешь всю мою жизнь. Сегодня день поминовения, сегодня я поклоняюсь памяти Суванкула, Касыма, Маселбека, Джайнака и Алимана. Пока я жива, я их никогда не забуду. Придет время, расскажу обо всем Жанболоту. Если наделен с рождения разумом и сердцем, то он поймет все. А как же быть с другими, со всеми людьми, живущими на белом свете? У меня есть разговор к ним. Как дойти до сердца каждого человека?

Эй, солнце, сияющее в небе, ты ходишь вокруг земли, скажи ты людям.

Эй, туча дождевая, пролейся над миром светлым ливнем и каждой каплей своей скажи!

Земля, мать-кормилица, ты держишь всех нас на своей груди, ты кормишь людей во всех уголках света. Скажи ты, родная земля, скажи ты людям!

— Нет, Толгонай, ты скажи. Ты — Человек. Ты выше всех, ты мудрее всех! Ты — Человек! Ты скажи!

18

— Ты уходишь, Толгонай?

— Да, уйду. Если жива буду, приду еще. До свидания, поле.